АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Железная пята

Художественная литература · azbyka.ru

Железная пята – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/zheleznaya-pyata

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Железная пята

Лондон Джек

Предисловие

Записки Эвис Эвергард нельзя считать надежным историческим документом. Историк обнаружит в них много ошибок, если не в передаче фактов, то в их истолковании. Прошло семьсот лет, и события того времени и их взаимосвязь — все то, в чем автору этих мемуаров было еще трудно разобраться, — для нас уже не представляет загадки. У Эвис Эвергард не было необходимой исторической перспективы. То, о чем она писала, слишком близко ее касалось. Мало того, она находилась в самой гуще описываемых событий.

И все же, как человеческий документ, «Эвергардовский манускрипт» исполнен для нас огромного интереса, хотя и здесь дело не обходится без односторонних суждений и оценок, рожденных пристрастием любви. Мы с улыбкой проходим мимо этих заблуждений и прощаем Эвис Эвергард ту восторженность, с какой она говорит о муже. Нам теперь известно, что он не был такой исполинской фигурой и не играл в событиях того времени столь исключительной роли, как утверждает автор мемуаров.

Эрнест Эвергард был человек выдающийся, но все же не в той мере, как считала его жена. Он принадлежал к многочисленной армии героев, самоотверженно служивших делу мировой революции. Правда, у Эвергарда были свои особые заслуги в разработке философии рабочего класса и ее пропаганды. Он называл ее «пролетарская наука», «пролетарская философия», проявляя известную узость взглядов, которой в то время невозможно было избежать.

Но вернемся к мемуарам. Величайшее их достоинство в том, что они воскрешают для нас атмосферу той страшной эпохи. Нигде мы не найдем такого яркого изображения психологии людей, живших в бурное двадцатилетие 1912 — 1932 гг., их ограниченности и слепоты, их страхов и сомнений, их моральных заблуждений, их неистовых страстей и нечистых помыслов, их чудовищного эгоизма. Нам, в наш разумный век, трудно это понять. История утверждает, что так было, а биология и психология объясняют нам — почему. Но ни история, ни биология, ни психология не в силах воскресить для нас этот мир. Мы допускаем его существование в прошлом, но он остается нам чужд, мы не понимаем его.

Понимание это возникает у нас при чтении «Эвергардовского манускрипта». Мы как бы сливаемся с действующими лицами этой отзвучавшей мировой драмы, живем их мыслями и чувствами. И нам не только понятна любовь Эвис Эвергард к ее героическому спутнику — мы ощущаем вместе с самим Эвергардом угрозу олигархии, страшной тенью нависшей над миром. Мы видим, как власть Железной пяты (не правда ли, удачное название!) надвигается на человечество, грозя его раздавить.

Кстати, мы узнаем, что создателем утвердившегося в литературе термина «Железная пята» явился в свое время Эрнест Эвергард — небезынтересное открытие, проливающее свет на вопрос, который долго оставался спорным. Считалось, что название «Железная пята» впервые встречается у малоизвестного журналиста Джорджа Милфорда в памфлете «Вы — рабы!», опубликованном в декабре 1912 года. Никаких других сведений о Джордже Милфорде до нас не дошло, и только в «Эвергардовском манускрипте» бегло упоминается, что он погиб во время чикагской резни. По всей вероятности, Милфорд слышал это выражение из уст Эрнеста Эвергарда — скорее всего во время одного из выступлений последнего в предвыборную кампанию осенью 1912 года. Сам же Эвергард, как сообщает нам манускрипт, впервые

употребил его на обеде у одного частного лица еще весной 1912 года. Эта дата и должна быть признана исходной.

Для историка и философа победа олигархии навсегда останется неразрешимой загадкой. Чередование исторических эпох обусловлено законами социальной эволюции. Эти эпохи были исторически неизбежны. Их приход мог быть предсказан с такой же уверенностью, с какой астроном исчисляет движение звезд. Это правомерные этапы эволюции. Первобытный коммунизм, рабовладельческое общество, крепостное право и наемный труд были необходимыми ступенями общественного развития. Но смешно было бы утверждать, что такой же необходимой ступенью явилось господство Железной пяты. Мы в настоящее время склонны считать этот период случайным отклонением или отступлением к жестоким временам тиранического социального самовластия, которое на заре истории было так же закономерно, как неправомерно стало впоследствии торжество Железной пяты.

Недобрую память оставил по себе феодализм, но и эта система была исторически необходима. После крушения такого мощного централизованного государства, как Римская империя, наступление эпохи феодализма было неизбежно. Но этого нельзя сказать о Железной пяте. В закономерном течении социальной эволюции ей нет места. Ее приход к власти не был исторически оправдан и необходим. Он навсегда останется в истории чудовищной аномалией, историческим курьезом, случайностью, наваждением, чем-то неожиданным и немыслимым. Пусть же это послужит предостережением для тех опрометчивых политиков, которые так уверенно рассуждают о социальных процессах.

Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, созревшим плодом буржуазной революции, и мы в наше время можем только присоединиться к этому определению. Следом за капитализмом должен был прийти социализм; это утверждали даже такие выдающиеся представители враждебного лагеря, как Герберт Спенсер. Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок, взлелеянный столетиями, — братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег — олигархию.

Социалисты начала двадцатого века слишком поздно обнаружили приход олигархии. Когда же они спохватились, олигархия была уже налицо — как факт, запечатленный кровью, как жестокая, кошмарная действительность. Но в то время, по свидетельству «Эвергардовского манускрипта», никто не верил в долговечность Железной пяты. Революционеры считали, что низвергнуть ее — дело нескольких лет. Они понимали, что Крестьянское восстание возникло наперекор их планам, а Первое вспыхнуло преждевременно. Но никто не ожидал, что и Второе восстание, хорошо подготовленное и вполне созревшее, обречено на такую же неудачу и еще более жестокий разгром.

Очевидно, Эвис Эвергард писала свои записки в дни, предшествовавшие Второму восстанию, в них ни слова нет о его злополучном исходе. Несомненно также, она надеялась опубликовать их сразу же после свержения Железной пяты, чтобы воздать должное памяти погибшего мужа. Но тут наступила катастрофа, и, готовясь бежать или в предвидении ареста, она спрятала записки в дупле старого дуба в Уэйк-Робинлодже.

Дальнейшая судьба Эвис Эвергард неизвестна. По всей вероятности, ее казнили наемники, а во времена Железной пяты никто не вел учета жертвам многочисленных казней. Одно можно сказать с уверенностью: пряча рукопись в тайник и готовясь к бегству, Эвис Эвергард не подозревала, какой страшный разгром потерпело Второе восстание. Она не могла предвидеть, что извилистый и трудный путь общественного развития потребует в ближайшие триста лет

еще и Третьего и Четвертого восстаний и много других революций, потопленных в море крови, — пока рабочее движение не одержит, наконец, победы во всем мире. Ей и в голову не приходило, что ее записки, дань любви к Эрнесту Эвергарду, семь долгих столетий пролежат в дупле векового дуба в Уэйк-Робинлодже, не потревоженные ничьей рукой.

А н т о н и М е р е д и т[1]

Ардис. 27 ноября 419 г. эры Братства людей.

Земной Театр! Нам стыд и горе —

Картин знакомых карусель…

Но потерпи, узнаешь вскоре

Безумной Драмы смысл и цель!

Глава первая. Мой орел

Легкий летний ветерок шелестит в могучих секвойях, шаловливая Дикарка неумолчно журчит между мшистых камней. В ярких лучах солнца мелькают бабочки; воздух напоен дремотным гудением пчел. Тишина и спокойствие вокруг, и только меня гнетут думы, гложет тревога. Безмятежная тишина надрывает мне душу. Как она обманчива! Все притаилось и молчит, но это — затишье перед грозой. Я напрягаю слух и всем существом ловлю ее приближение. Только б она не разразилась слишком рано. Горе, горе, если она разразится слишком рано![2]

У меня немало причин для тревоги. Мысли, неотвязные мысли не покидают меня. Я так долго жила кипучей, деятельной жизнью, что тишина и покой кажутся мне тяжким сном, и я не могу забыть о том яростном шквале смерти и разрушения, который вот-вот пролетит над миром. В моих ушах звенят вопли поверженных, а перед глазами все те же призраки прошлого[3]. Я вижу поруганную, истерзанную человеческую плоть, вижу, как насилие исторгает душу из прекрасного, гордого тела, чтобы в злобном неистовстве швырнуть ее к престолу творца. Так мы, люди, через кровь и разрушение идем к своей цели, стремясь навсегда установить мир и радость на земле.

И одиночество… Когда я не думаю о том, что будет, мысли мои обращаются к тому, что было и не возвратится вновь, — к тебе, мой орел, парящий на мощных крыльях, устремленный ввысь, к солнцу, ибо солнцем был для тебя светлый идеал свободы. Я не в силах сидеть и ждать сложа руки прихода великих событий, которые вызваны к жизни моим мужем, хоть ему и не суждено было увидеть их рождение. Он отдал нашему делу свои лучшие годы и умер за него. Это плоды его трудов, его создание[4].

Итак, эти томительные дни я хочу посвятить воспоминаниям о моем муже. Есть многое, о чем из всех живущих могу рассказать лишь я одна, а ведь о таком человеке, как Эрнест, сколько ни рассказывай, все мало. В Эрнесте жила великая душа, и когда в моей любви умолкает все личное, я больше всего скорблю при мысли, что его не будет здесь завтра, чтобы встретить зарю нового дня. В том, что мы победим, не может быть сомнений. Он строил так прочно, так надежно, что здание устоит. Смерть Железной пяте! Близок день, когда поверженный человек поднимет голову. Как только эта весть разнесется по всему миру, повсюду восстанут армии труда. Свершится то, чего еще не знала история. Солидарность рабочих обеспечена, а это значит, что международная революция впервые развернется во всю свою необъятную ширь[5].

Как видите, я вся во власти надвигающихся событий. Я жила этим день и ночь — так долго, что ни о чем другом не в силах думать. А тем более, говоря о моем муже, могу ли я не говорить о его деле! Он был душой этого великого начинания, и для меня они нераздельны.

Как я уже сказала, есть многое, что только я одна могу рассказать об Эрнесте. Все знают, что он, не щадя себя, работал для революции и немало перенес. Но как он работал и сколько перенес, знаю я одна. Двадцать грозных лет мы были с ним неразлучны, и мне больше, чем кому-либо, известно его терпение, его неистощимая энергия и безграничная преданность делу революции, за которое он два месяца назад сложил голову.

Постараюсь просто и по порядку рассказать, как Эрнест вошел в мою жизнь, — о нашей первой встрече, о том, как он постепенно овладел моей душой и перевернул весь мой мир. И тогда вы увидите его моими глазами, узнаете таким, каким знала я, — кроме самого заветного и дорогого, что слова бессильны передать.

Мы познакомились в феврале 1912 года, когда Эвергард по приглашению моего отца[6] явился к нам, в наш особняк в городе Беркли, на званый обед. Не могу сказать, чтоб он понравился мне с первого взгляда, — скорее наоборот. В гостиной, где собралось все общество, Эрнест производил странное, чтобы не сказать дикое, впечатление. Среди почтенных служителей церкви на этом обеде, который отец шутя назвал «синедрионом», Эвергард казался человеком с другой планеты.

Прежде всего одет он был ужасно. Костюм из дешевого темного сукна, купленный в магазине готового платья, сидел на нем убийственно. Да Эрнесту, при его сложении, и нельзя было покупать ничего готового. Его богатырские мускулы выпирали из-под жиденького сукна, на атлетических плечах набегали складки. Глядя на его шею, массивную и мускулистую, как у профессиовального боксера[7], я невольно подумала: так вот оно, последнее увлечение папы — философ-социолог, в недавнем прошлом кузнечный подмастерье. Он и сейчас напоминает кузнеца — достаточно взглянуть на эти мускулы и бычий загривок; должно быть, из этих самородков, «Слепой Том» [8] рабочего класса.

А его рукопожатие! Оно было крепким и властным, и взгляд его черных глаз слишком пытливо, как мне показалось, задержался на моем лице. Так рассуждала я, дитя своей среды, девушка с классовыми предрассудками. Человеку моего круга я не простила бы такой смелости. Помню, я невольно опустила глаза и с чувством облегчения поспешила навстречу епископу Морхаузу, нашему старому другу, — это был обаятельный человек средних лет, лицом и кротким нравом напоминавший Христа, к тому же очень начитанный и образованный.

Между тем оскорбившая меня смелость составляла, пожалуй, основную черту Эрнеста Эвергарда. Человек прямой и открытой души, он ничего не боялся и презирал условности. «Ты мне понравилась, — объяснял он мне впоследствии. — Разве не естественно смотреть на то, что нравится?»

Как я уже говорила, Эрнест ничего не боялся. Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному легерю. Ницше[9] узнал бы в нем своего сверхчеловека, или, как он выражался, «белокурую бестию», — с той существенной разницей, что Эрнест отдал сердце демократии.

Занятая гостями, я и думать забыла о неприятном философе из рабочих, но, когда мы сели за стол, мое внимание раз-другой привлекли искорки смеха в его глазах, очевидно, вызванные беседой их преподобий. «Он не лишен юмора», — подумала я и почти простила гостю его нескладный костюм. Но время шло, обед близился к концу, а Эвергард так и не сказал ничего в

ответ на бесконечные речи священников о церкви и рабочем классе, о том, что церковь сделала и что она собирается сделать для блага рабочих. Я заметила, что папа огорчен упорным молчанием своего протеже. Воспользовавшись небольшой заминкой в разговоре, он прямо обратился к Эрнесту и предложил ему высказать свои соображения. Тот только пожал плечами и равнодушно бросил: «У меня нет никаких соображений», — и после чего с удвоенным усердием занялся соленым миндалем.

Но от папы не так-то легко было отделаться. Немного погодя он заявил:

— Среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного. Попросим же мистера Эвергарда высказаться.

Все любезно поддержали это предложение. Их преподобия с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что только-только не хлопали его по плечу. Я заметила, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвел глазами весь стол, и я опять уловила в них искорки смеха.

— Я не искушен в учтивостях церковных словопрений, — начал он и замялся, по-видимому, борясь с робостью и смущением.

— Просим, просим! — раздалось со всех сторон, а доктор Гаммерфилд сказал:

— Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило. — И прибавил: — Если оно сказано от чистого сердца.

— Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца? — усмехнулся Эрнест.

Доктор Гаммерфилд оторопел, однако вышел из положения:

— Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие…

Тон Эрнеста мгновенно изменился. Сейчас это был совсем другой человек.

— Отлично, — сказал он резко. — Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Мало того, вы на него клевещете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления.

Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нем было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал как призывный горн и отозвался во мне глубоким волнением. Да и все за столом оживились. Безразличие и сонливость как рукой сняло.

— В чем же, молодой человек, выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления? — вскинулся Гаммерфилд; ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия.

— Вы, господа, метафизики! С помощью метафизики вы можете доказать все, что вашей душе угодно. А доказав, вывести черным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего вам останется только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Вы рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо представляете себе окружающий мир, вашим измышлениям нет места в реальном мире, разве

что в качестве примера умственной аберрации.

Знаете ли вы, о чем я думал, сидя за этим столом и слушая ваши бесконечные разговоры? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьезным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие сэры, так же далеки от интеллектуальной жизни двадцатого столетия, как индеец-шаман, десять тысяч лет назад творивший заклинания в глуши девственного леса.

Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить — он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые, разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. Это и случилось с нашими гостями. Епископ Морхауз наклонился вперед и ловил каждое слово Эрнеста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически, с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением. Искоса поглядывая на отца, я видела, что он от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу столовую.

— Вы выражаетесь крайне туманно, — прервал оратора доктор Гаммерфилд. — Что, собственно, вы хотите сказать, называя нас метафизиками?

— Я называю вас метафизиками потому, что вы рассуждаете, как метафизики, — отвечал Эрнест. — Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказать все, что вам угодно, и это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остается при особом мнении. Вы ищете объяснения вселенной и самих себя в собственном сознании. Но скорее вы оторветесь от земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием.

— Я не совсем понимаю, — отозвался епископ Морхауз. — Ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики. Самая точная и убедительная из наук — математика — тоже чистейшая метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?

— Я согласен, что вы не понимаете, как сами вы сказали, — возразил Эрнест. — Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом, он исходит из ложных предпосылок. Ученый же пользуется индуктивным методом, он исходит из данных опыта. Метафизик от теории идет к фактам, ученый от фактов — к теории. Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить весь мир. Ученый, познавая мир, познает самого себя.

— Хвала создателю, мы не ученые, — самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд.

— Кто же вы? — обратился к нему Эрнест.

— Философы.

— Вот именно, — рассмеялся Эрнест. — Вы оторвались от твердой, устойчивой земли и витаете в облаках, а между тем ваш летательный аппарат — это одна словесность. Но, может быть, вы спуститесь на землю и скажете мне, только поточнее, что вы называете философией?

— Философия — это… — доктор Гаммерфилд откашлялся, — это нечто, что не поддается объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским. Ограниченный ученый, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймет, что такое философия.

Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приемом было бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения.

— В таком случае, надеюсь, вы поймете то определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю, вам придется либо его опровергнуть, либо сложить оружие и отныне оставаться метафизиком про себя. Философия — это всего лишь наиболее объемлющая из наук. По своему методу она нисколько не отличается от любой точной науки, равно как и от всех наук, вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все знания в одну великую науку. По словам Спенсера, данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те познания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть, таким образом, наука наук, наука в точном смысле слова, если хотите. Ну, что вы скажете о моем определении?

— Похвально, весьма похвально, — промямлил доктор Гаммерфилд.

Но Эрнест был неумолим.

— Не забывайте, — предостерег он, — что от этого определения не поздоровится вашей метафизике; раз вы его не опровергаете, значит, вы побитый метафизик и вам больше не подобает выступать на этом поприще. Придется вам теперь перейти на положение метафизика в отставке или искать изъяна в моих рассуждениях, до тех пор пока вас не осенит счастливая догадка.

Эрнест ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, оглушили его. Прямые и открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих сотрапезников, но ни один не пришел ему на помощь. Я заметила, что папа смеется, закрывшись салфеткой.

— Существует и другой метод дискредитации метафизиков, — продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. — Это судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли ощутимую пользу? Они разводили философию — да простится мне неправильное употребление этого слова — по поводу того, что сердце есть вместилище страстей, в то время как ученые исследовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума — это кары небесные, между тем как ученые строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как ученые строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что земля — пуп Вселенной, а ученые в это время открывали Америку и исследовали пространство в поисках новых звезд и законов, управляющих движением звезд. Словом, метафизики ничего — ровным счетом ничего — не сделали для человечества. По мере того как наука двигалась вперед, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко для новооткрытых данных. Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворванью, — это тысячелетиями накопленный опыт, и только.

— Мысль Аристотеля владычествовала в Европе двенадцать столетий, — напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд. — Хотя Аристотель был метафизиком.

Сказав это, он обвел глазами присутствующих, с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки.

— Ваш пример неудачен, — возразил Эрнест. — Вы ссылаетесь на самый темный период истории. Он так и называется: «темное средневековье». Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию — к алхимии, астрономию — к астрологии. Ваше «владычество аристотелевой мысли» — битая карта!

Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось.

— Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно, имели место. Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака средневековья к свету последующих столетий.

— Метафизика тут ни при чем, — отрезал Эрнест.

— Как? — вскричал доктор Гаммерфилд. — Разве умозрительная философия и спекулятивное мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?

Эрнест с улыбкой повернулся к нему.

— Дражайший сэр, вас, помнится, лишили права публичных выступлений. Ведь вы так и не опровергли мое определение философии. Вы теперь у нас на птичьих правах, но так как это участь всех метафизиков, я, так и быть, прощаю вас. Повторяю: не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоценности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию — вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далеким берегам. После падения Константинополя в 1453 году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новых путей. Вот чем было вызвано развитие мореплавания. Вот чем было вызвано и путешествие Колумба. Вы найдете это в любом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего система Птолемея полетела вверх тормашками.

Доктор Гаммерфилд фыркнул.

— Вы не согласны? — обратился к нему Эрнест. — В чем же, скажите, я не прав?

— Я не согласен, вот и все, — огрызнулся доктор Гаммерфилд. — Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии.

— Науке не страшны никакие дебри и никакие дали, — кротко отвечал Эрнест. — Потому-то она и добилась кой-чего. Потому-то она и открыла Америку.

Я не стану описывать весь вечер, хотя для меня нет большей радости, чем вспоминать каждую подробность моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом.

Битва продолжалась все с тем же ожесточением, и наши гости все больше багровели и кипятились, особенно когда Эрнест стал честить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и т. п. И все время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — восклицал он торжествующе, уложив противника на обе лопатки. Факты были его оружием. И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов.

— Вы, очевидно, молитесь фактам, — съязвил доктор Гаммерфилд.

— Нет бога, кроме факта, и мистер Эвергард — пророк его, — вторил ему доктор Боллингфорд.

Эрнест весело кивнул в знак согласия.

— Я как тот техасец, — сказал он и, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжал: — Уроженец штата Миссури всегда скажет вам: «Не поверю, пока сам не увижу»; техасец же скажет: «Не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик.

Другой раз, когда Эрнест сказал, что метафизиками утрачен критерий истины, на него насел доктор Гаммерфилд.

— Так что же является критерием истины, молодой человек? Может быть, вы нам скажете? Кстати, на этот вопрос не могли ответить и более мудрые головы.

— Вот то-то и есть, что не могли! — подхватил Эрнест. Его несокрушимая самоуверенность бесила их больше всего. — Эти мудрецы потому не нашли критерия истины, что искали его где-то в эмпиреях. Если бы они держались твердой земли, они не только нашли бы его без труда, но и увидели бы, что каждое их действие, каждая мысль является проверкой истины.

— К делу, к делу! — кипятился доктор Гаммерфилд. — Мы обойдемся без предисловий. Вы обещали возвестить нам критерий истины, который мы так долго искали. Просветите же нас, дабы мы уподобились богам.

Открытый вызов и глумление в его словах и тоне, по-видимому, находили отклик в сердцах слушателей, и только епископу Мохаузу было явно не по себе.

— Доктор Джордан[10] определил критерий истины очень точно, — сказал Эрнест. — Он учил: «Проверяйте его в действии. Годится только то, чему вы без страха доверили бы свою жизнь!»

— Пффа! — Доктор Гаммерфилд насмешливо улыбался. — А епископ Беркли?[11] Его еще никто не опроверг!

— Король метафизиков! — рассмеялся Эрнест. — Ваш пример неудачен. Беркли и сам не доверял своей метафизике.

Доктор Гаммерфилд пришел в негодование, в священное негодование. Можно было подумать, что он изобличил Эрнеста в воровстве или во лжи.

— Молодой человек, — загремел он. — Ваше утверждение так же возмутительно, как и все, что нам пришлось здесь выслушать. Это низкое и необоснованное утверждение.

— Я уничтожен, убит! — покорно отозвался Эрнест. — Но я хотел бы знать, какой кирпич свалился мне на голову. Нельзя ли подержать его в руках, доктор Гаммерфилд?

— Извольте, извольте! — Доктор Гаммерфилд отчаянно брызгал слюной. — Откуда вы это взяли? Где это сказано, будто бы епископ Беркли сам признавал, что его метафизика порочна? Какие у вас доказательства? Молодой человек, метафизика епископа Беркли живет в веках!

— Доказательство того, что Беркли не доверял своей метафизике, я усматриваю в следующем: Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену. Беркли, дорожа своей жизнью и предпочитая действовать наверняка, налегал на хлеб и на масло, не говоря уже о ростбифе. Когда Беркли брился, он обращался к помощи бритвы, ибо на опыте убедился, что она начисто снимает щетину с его лица.

— Но это дела житейские! — воскликнул доктор Гаммерфилд. — Метафизика же ведает сверхчувственным миром.

— Так, значит, метафизика надежный кормчий в сверхчувственном мире? — вкрадчиво спросил Эрнест.

Доктор Гаммерфилд усиленно закивал головой.

— Что же, и сонмы ангелов могут отплясывать на острие иголки — в сверхчувственном мире, — вслух размышлял Эрнест. — И питающийся ворванью, одетый в моржовую шкуру эскимосский божок имеет все права на существование — в сверхчувственном мире. Там это, пожалуй, не встретит никаких возражений. А сами вы, доктор, тоже живете в сверхчувственном мире?

— «Мой разум — мир, где я живу», — ответствовал доктор.

— Вы хотите сказать, что вы чужды всему земному, но к обеду вы, разумеется, не забываете спуститься на землю. И от землетрясения тоже не ищете укрытия в облаках. Кстати, вы не боитесь, доктор, что, случись у нас землетрясение, вас может основательно хватить по вашей нематериальной макушке этаким увесистым нематериальным кирпичом?

Доктор Гаммерфилд невольно поднес руку к затылку, где еще можно было разглядеть заросший волосами шрам. Эрнест неожиданно попал в точку. Во время Великого землетрясения[12] доктора Гаммерфилда чуть не убило кирпичной трубой. За столом поднялся дружный хохот.

— Так как же? — продолжал Эрнест, когда оживление улеглось. — Я жду ваших возражений.

Все молчали, и он снова сказал:

— Я жду. — А затем добавил: — Что ж, и это аргумент, но только не в вашу пользу.

Доктор Гаммерфилд временно выбыл из строя, и вскоре спор перекинулся в другую область. Пункт за пунктом Эрнест разбивал доводы церковников. Когда они заявляли, что знают рабочих, Эрнест доказывал, что им не знакомы простейшие, азбучные истины о положении рабочего класса, и требовал, чтобы они его опровергли. И все время он забрасывал их фактами, напоминал о фактах, возвращал к фактам и реальной действительности.

Эта сцена неизгладимо живет в моей памяти. Голос Эрнеста с его столь знакомыми мне металлическими нотками и сейчас еще звучит в моих ушах, и каждый факт, которым он разит своих противников, кажется мне метким ударом гибкого, жалящего бича. Эрнест был безжалостен. Он не просил пощады[13] и сам никого не щадил. Особенно памятна мне взбучка, которую он задал нашим гостям под самый конец.

— Сегодня вы не раз доказали, что не знаете рабочих; некоторые из вас заявляли это прямо, за других говорило невежество их ответов. Впрочем, вас трудно и винить, — где уж вам знать рабочих! Вы не живете с ними, вы предпочитаете селиться в кварталах богачей. Да почему бы и нет? Ведь богачи и содержат, и кормят вас, и обряжают вот в эту самую добротную одежду, в которой вы сегодня пожаловали сюда. Ну, и вы, чтобы не остаться в долгу, расхваливаете ту марку метафизики, которая им всего более по душе. А известно, какая марка философии и религии по душе капиталистам: та, которая не угрожает существующему строю.

Ответом на эти слова был ропот возмущения.

— Я не обвиняю вас в двоедушии, — продолжал Эрнест. — Вы и в самом деле так чувствуете. Вы проповедуете то, во что верите. Этим-то вы и дороги капиталистам, в этом ваша сила. Но стоит вам изменить свой образ мыслей и выступить против существующих порядков, как вам немедленно укажут на дверь: такие проповеди неприемлемы для ваших хозяев. Признайтесь, ведь подобные случаи бывали[14]. Не правда ли?

На этот раз никто не спорил. Все молчаливо согласились с оратором, и только доктор Гаммерфилд сказал:

— Указывают на дверь тем, кто сбился с пути истинного.

— Называйте, как хотите. Сбиться с пути истинного — это и значит проповедовать то, что не показано, — возразил Эрнест и продолжал: — Так вот что я вам скажу. Проповедуйте, что вам положено, и получайте, что вам причитается. Но, только Бога ради, оставьте в покое рабочих. Ваше место — в стане их врагов. У вас с рабочими не может быть ничего общего. Ваши руки изнежены оттого, что за вас работают другие. Вон вы какие телеса нагуляли, это от сытой, привольной жизни. (Доктор Боллингфорд невольно поежился, чувствуя, что все взгляды устремлены на его солидное брюшко, которое, как говорили злые языки, давно уже мешало ему видеть собственные ноги.) Ваши головы набиты доктринами, полезными для поддержания существующего строя. Вы такие же наемники (преданные наемники, допустим), какими была в свое время швейцарская гвардия[15]. Служите же своим хозяевам верой и правдой, стойте на страже их интересов; но не сбивайте с толку рабочих, не обманывайте их своими лжеучениями. Нельзя быть воином двух станов: это прежде всего нечестно. До сих пор рабочий класс обходился без ваших услуг. Поверьте, они ему не понадобятся и в дальнейшем. Напротив, вы не принесете ему ничего, кроме вреда.

Глава вторая. Мне и епископу Морхаузу брошен вызов

Когда гости разошлись, отец упал в кресло и от души расхохотался. С тех пор, как мы схоронили матушку, я не видела его таким веселым.

— Ручаюсь, что доктору Гаммерфилду не приходилось еще бывать в такой переделке, — потешался он. — Вот тебе и «учтивости церковных словопрений»! Ты заметила, как этот Эвергард сначала прикинулся овечкой и вдруг обернулся львом рыкающим. А какой дисциплинированный ум! Он мог бы стать прекрасным ученым, только интересы у него направлены не в ту сторону.

Нечего и говорить, что и меня взволновала встреча с Эрнестом Эвергардом. И не только смысл и своеобразная форма его речей, — меня заинтересовал сам человек. В нашем кругу не встречались такие люди. Может быть, поэтому я все еще не помышляла серьезно о замужестве, несмотря на свои двадцать четыре года. Эрнест мне нравился, я должна была себе в этом сознаться. И это говорил мне не ум, не рассудок. Невзирая на его атлетическое сложение и шею боксера, я угадывала в нем детски-наивную душу. В неукротимом бунтаре скрывалась нежная, чувствительная натура. Трудно сказать, что внушило мне эти мысли, — вернее всего, их подсказало сердце.

Голос Эрнеста, в котором слышался чистый звон металла, проникал мне в душу. Интонации этого голоса все еще звучали в моих ушах, и мне хотелось снова слышать его, ловить искорки смеха в глазах этого человека, лицо которого, казалось, выражало одну лишь решительность и суровость. Встреча эта пробудила во мне и другие, еще смутные и неопределенные, желания и ощущения. Я, может быть, уже тогда полюбила Эрнеста, хотя эти неясные чувства, вероятно, угасли бы без следа, если бы нам не довелось больше встретиться.

Судьба не допустила этого. Этого не допустило новое увлечение моего отца социологией и задуманная им серия обедов. Отец не был социологом по образованию. Его брак с моей матерью был счастливым союзом, а работа в любимой области — физике — давала ему огромное удовлетворение. Но со смертью матушки в жизни его образовалась пустота, которую старые, привычные занятия не могли заполнить. Отец заинтересовался философией — скорее как любитель, а потом серьезно увлекся социологией и политической экономией. В нем всегда было сильно чувство справедливости, а теперь оно стало его главной страстью: он мечтал об уничтожении несправедливости на земле. Я радовалась его возвращению к деятельной жизни, не подозревая, чем это может для него кончиться. С энтузиазмом юноши окунулся он в новую для него сферу, нимало не задумываясь над тем, куда это может его привести.

Лабораторные занятия были для отца привычной стихией, и теперь он превратил нашу столовую в своего рода социологическую лабораторию. На его обедах бывали люди всех рангов и сословий — ученые, политики, банкиры, коммерсанты, профессора, профсоюзные деятели, социалисты и анархисты. Отец вызывал своих гостей на беседы и споры, а потом анализировал их взгляды на жизнь и общество.

С Эрнестом он познакомился незадолго до нашего «синедриона». В тот вечер, после ухода гостей, отец рассказал мне, как недавно, проходя по улице, он остановился послушать агитатора, обращавшегося к толпе рабочих. Это и был Эрнест. Впрочем, Эрнест был не только агитатором; он занимал видное положение в социалистической партии, его считали авторитетом в вопросах социалистической философии. Он умел ясно излагать самые сложные вещи и, будучи прирожденным учителем и пропагандистом, не пренебрегал и уличной трибуной, стремясь к распространению среди рабочих экономических знаний.

Заинтересовавшись молодым оратором, отец тут же условился с ним о новой встрече, а затем, как знакомого, пригласил на обед с представителями церкви. И только после обеда он рассказал мне то немногое, что успел узнать о новом приятеле.

Эрнест родился в рабочей среде, несмотря на то, что род его, восходивший к американским пионерам, уже двести с лишним лет как поселился в Америке[16]. Десятилетним мальчуганом Эрнест поступил на фабрику, выучился кузнечному делу и работал кузнецом. Он не получил систематического образования, но, занимаясь самостоятельно, изучил даже французский и немецкий языки и теперь перебивался переводами научных и философских книг для небольшого чикагского социалистического издательства. Кое-какие крохи приносили ему его собственные брошюры по вопросам философии и экономики, весьма туго распродававшиеся.

Все это я узнала в тот самый вечер и потом долго не могла уснуть, взволнованная новыми впечатлениями, прислушиваясь к мощному голосу, который не переставал звучать в моих ушах. Я непрестанно думала об Эрнесте и сама пугалась своих мыслей. Этот человек был так непохож на тех, кого я знала, от него веяло незнакомой, суровой силой. Его властность и привлекала и страшила меня, так как, отдавшись вольной игре воображения, я уже рисовала его себе своим возлюбленным, своим мужем. Я часто слышала, что сила в мужчине неотразимо привлекает женщин. Но этот человек был слишком силен. «Нет, нет, — восклицала я, — немыслимо, невозможно!» Но утром я уже опять мечтала о новой встрече с Эрнестом. Я жаждала вновь увидеть его в горячей схватке с противниками, услышать звон металла в его голосе, наблюдать, с какой уверенностью и силой он расправляется со своими оппонентами, выколачивая из них спесь и самодовольство, как расшатывает их привычные верования и убеждения. Пусть он не знает удержу. Говоря его собственными словами, это «действует», дает результаты. Его стремительность увлекала за собой, она волновала, словно звуки трубы перед атакой.

Прошло несколько дней. За это время я познакомилась с теми книжками Эрнеста, которые нашлись у папы. Писал он так же, как говорил, — ясно и убедительно. Вы могли не соглашаться с ним, но вас невольно восхищала простота и прозрачность его слога. Мысль его работала необыкновенно четко. Это был популяризатор по призванию. Но, несмотря на все достоинства изложения, со многим в его писаниях я не могла согласиться. Он слишком подчеркивал то, что называл классовой борьбой, антагонизмом между трудом и капиталом, столкновением интересов.

Папа сообщил мне, посмеиваясь, что доктор Гаммерфилд отозвался об Эрнесте как о «дерзком щенке, который возомнил о себе, начитавшись плохих книжек». Почтенный пастырь наотрез отказался от дальнейших встреч с Эрнестом.

Зато епископ Морхауз проявлял интерес к молодому агитатору и очень хотел еще раз встретиться с ним. «Энергичный юноша, — сказал он отцу, — в нем много жизни, много сил. Но только очень уж он себе верит».

Как-то вечером отец опять привел к нам Эрнеста. Пришел и епископ, и нам подали чай на веранде. Здесь уместно пояснить, что затянувшееся пребывание Эрнеста в нашем городе было вызвано тем, что он слушал в университете специальный курс биологии, а кроме того, прилежно работал над своей книгой «Философия и революция» [17].

До чего же тесной показалась мне наша веранда с появлением на ней Эрнеста! Собственно, он был не такой уж высокий — пять футов девять дюймов, — но все как-то тускнело и терялось рядом с ним. Здороваясь со мной, он заметно смутился, и меня удивила застенчивая неуклюжесть его поклона, не вязавшаяся ни с его решительным взглядом, ни с крепким рукопожатием. И опять его глаза смело и уверенно заглянули в мои. На этот раз я прочла в них вопрос, и снова он слишком пристально смотрел на меня.

— Я прочла вашу «Философию рабочего класса», — сказала я.

Глаза Эрнеста потеплели.

— Надеюсь, вы приняли во внимание, что эта книжка рассчитана на определенную аудиторию? — сказал он.

— Да, и как раз поэтому я хочу с вами поспорить, — продолжала я отважно.

— Я тоже хочу с вами поспорить, мистер Эвергард, — вставил епископ Морхауз.

Эрнест слегка пожал плечами и принял из моих рук чашку чая.

Епископ легким поклоном в мою сторону дал понять, что просит меня говорить первой.

— Вы разжигаете классовую ненависть, — начала я. — Я считаю недостойным и даже преступным такое обращение к самым темным инстинктам рабочего класса, к его ограниченности и жестокости. Классовая ненависть — это чувство антисоциальное, что общего может быть между ней и социализмом?

— Не виновен ни словом, ни помышлением, — возразил Эрнест. — Ни в одной из моих книг нет ни строчки о классовой ненависти.

— Полноте! — воскликнула я с упреком и, достав брошюру, принялась перелистывать ее.

Он спокойно пил чай и с улыбкой поглядывал на меня.

— Вот, страница сто тридцать вторая, — приступила я к чтению. — «На современном этапе общественного развития отношения между классом, покупающим рабочую силу, и классом, продающим ее, принимают характер классовой борьбы».

Я посмотрела на Эрнеста с торжеством.

— Тут ни слова нет о классовой ненависти, — сказал он, улыбаясь.

— Но разве здесь не сказано: классовая борьба?

— Так это же разные вещи, — возразил Эрнест. — Поверьте, мы не разжигаем ненависти. Мы говорим, что классовая борьба — это закон общественного развития. Не мы несем за нее ответственность, не мы ее породили. Мы только исследуем ее законы, как Ньютон исследовал законы земного притяжения. Мы объясняем, в чем существо противоречивых интересов, столкновение которых приводит к классовой борьбе.

— Но никаких противоречий быть не должно! — воскликнула я.

— Согласен, — ответил Эрнест. — Мы, социалисты, и добиваемся устранения этих противоречий. Разрешите мне прочитать вам небольшой отрывок. — Он взял книжку и полистал ее. — Страница сто двадцать шестая: «Период классовой борьбы, возникающий с распадом первобытного коммунизма и переходом к периоду накопления частной собственности, должен завершиться обобществлением частной собственности...»

— Позвольте мне все же с вами не согласиться, — вмешался епископ. Легкий румянец на его бледном аскетическом лице казался отблеском внутреннего огня. — Я отвергаю ваше исходное положение. Между интересами капитала и труда нет противоречий, — во всяком случае, их не должно быть.

— Покорнейше благодарю, — отвечал Эрнест, на этот раз с величайшей серьезностью. — Ваши последние слова только подкрепляют мое исходное положение.

— Да и откуда бы взяться этому противоречию? — допытывался епископ.

Эрнест развел руками:

— Вероятно, люди так устроены.

— Нет, люди не так устроены! — горячился епископ.

— Кого же вы имеете в виду? — спросил Эрнест. — Быть может, вам мерещатся какие-то идеальные натуры, чуждые корысти и мирских интересов? Но ведь это столь редкостные явления, что о них и говорить не стоит. Или вы имеете в виду обыкновенного, рядового человека?

— Я имею в виду обыкновенного, рядового человека, — последовал ответ.

— Наделенного слабостями, склонного к ошибкам и заблуждениям?

Епископ кивнул.

— Мелочного, эгоистичного?

Епископ снова кивнул.

— Берегитесь! — воскликнул Эрнест. — Я сказал «эгоистичного».

— Средний человек эгоистичен, — храбро подтвердил епископ.

— Ему сколько ни дай, все мало!..

— Да, ему сколько ни дай, все мало… Как это ни прискорбно, я согласен с вами.

— Ну, тогда вы попались! — Челюсти Эрнеста грозно сомкнулись, точно захлопнулась ловушка. — Смотрите сами. Возьмем человека, работающего, скажем, в трамвайной компании.

— Эту работу предоставил ему капитал, — ввернул епископ.

— Правильно, но капитал не мог бы существовать без рабочих, обеспечивающих ему дивиденды.

Епископ промолчал.

— Согласны?

Епископ кивнул.

— В таком случае мы квиты и можем начать сначала. — Тон у Эрнеста был самый деловой. — Итак, трамвайные рабочие дают свой труд. Акционеры дают капитал. Совместными усилиями труда и капитала создается новая стоимость[18]. Она делится между рабочими и предпринимателями. Доля капитала называется «дивидендами», доля труда — «заработной платой».

— Совершенно верно, — сказал епископ. — Но почему же этот дележ не может быть полюбовным?

— Вы забыли, с чего мы начали, — возразил Эрнест. — Мы установили, что средний человек — эгоист. Нас ведь интересуют настоящие, живые люди. Вы же опять вознеслись в эмпиреи и говорите о бескорыстных существах, достойных всякой похвалы, но не существующих в природе. Спустившись на землю, мы должны сказать, что рабочий, будучи обыкновенным смертным, хочет получить при дележе возможно большую долю. Капиталист тоже норовит получить возможно больше. Но там, где разделу подлежат точно определенные, реальные ценности и где та и другая сторона хочет получить большую долю, неминуемо возникает столкновение интересов. Вот вам и конфликт между трудом и капиталом. И, надо сказать, конфликт неразрешимый. До тех пор, пока существуют труд и капитал, будут существовать разногласия между ними в вопросе о разделе материальных благ. Если бы вы сегодня оказались в Сан-Франциско, вам пришлось бы передвигаться пешком. Сегодня на линию не вышел ни один вагон.

— Опять забастовка?[19] — горестно воскликнул епископ.

— Да. Очередные разногласия у рабочих и трамвайной компании по вопросу о заработной плате.

Епископ Морхауз был вне себя от огорчения.

— Какая пагубная ошибка!.. — воскликнул он. — Как это недальновидно со стороны рабочих. Разве могут они цадеяться на сочувствие, если…

— Если заставляют нас ходить пешком, — лукаво подсказал ему Эрнест.

Но епископ пропустил мимо ушей его замечание.

— Это непростительная ограниченность и узость. Человек не должен становиться диким зверем. Опять насилие, убийство! Сколько безутешных вдов, бесприютных сирот! Рабочим и предпринимателям следовало бы быть верными союзниками. Они должны работать дружно, это выгодней и для тех и для других.

— Опять вы парите в небесах, — холодно остановил его Эрнест. — Вернитесь на землю. Вспомните: человек эгоистичен.

— Но этого не должно быть! — воскликнул епископ.

— Согласен, — последовал ответ. — Человек не должен быть эгоистом, но он останется им при социальной системе, основанной на неприкрытом свинстве.

У епископа перехватило дыхание. Папа втихомолку смеялся.

— Да, неприкрытое свинство, — продолжал неумолимо Эрнест, — вот истинная сущность капиталистической системы. И вот за что ратует ваша церковь, вот что и сами вы проповедуете, всходя на кафедру. Свинство! Другого названия не подберешь.

Епископ жалобно посмотрел на отца, но тот, все так же смеясь, энергично закивал головой.

— Боюсь, что мистер Эвергард прав, — сказал он. — У нас господствует принцип «Laissez faire», иначе говоря — «каждый за себя, черт за всех». Как мистер Эвергард говорил в прошлый раз, церковь стоит на страже существующего порядка, а основа этого порядка именно такова.

— Христос не этому учил нас! — воскликнул епископ.

— Нынешней церкви нет дела до учения Христа, — вмешался Эрнест. — Потому-то она и растеряла своих приверженцев среди рабочих. В наши дни церковь поддерживает ту чудовищную, зверскую систему эксплуатации, которую установил класс капиталистов.

— Нет, церковь ее не поддерживает, — настаивал епископ.

— Но она и не восстает против нее. А раз так, значит, она эту систему поддерживает. Да оно и естественно, ведь церковь существует на средства капиталистов.

— Мне это никогда не приходило в голову, — простодушно возразил епископ. — Думаю, что вы не правы. Я знаю, в этом мире немало тяжелого и несправедливого. Знаю, что церковь утратила часть своих сынов — так называемый пролетариат…[20]

— Пролетариат никогда не был вашим, — загремел Эрнест. — Он рос вне церкви, церковь меньше всего им занималась.

— Я вас не понимаю, — пролепетал епископ.

— А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине восемнадцатого века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери семейств и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью.

— Знаю, знаю, — перебил его епископ, страдальчески морщась. — Все это ужасно. Но это было полтора века тому назад.

— Полтора века назад и возник современный пролетариат, — подхватил Эрнест. — А где была тогда церковь? Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ, а как отнеслась к этому церковь? Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис[21]: «Те, кому было заповедано: „Пасите овец моих“, спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти тяжелой работой» [22]. В эти страшные годы церковь безмолвствовала. Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили: согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так?

Епископ колебался: он не привык к тактике «лобовой атаки», как называл ее Эрнест.

— История восемнадцатого века уже написана, — настаивал Эрнест. — Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, об этом можно было бы прочитать в книгах.

— Боюсь, что церковь действительно молчала, — вынужден был признать епископ.

— Сегодня она также молчит.

— Нет, с этим я не могу согласиться, — возразил епископ.

Эрнест не сразу ответил. Он испытующе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение.

— Ладно, — сказал он, — посмотрим. В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают девяносто центов. Протестовала против этого церковь?

— Для меня это новость. Девяносто центов! Неслыханно, ужасно!

— Протестовала церковь? — повторил Эрнест.

— Церкви это неизвестно, — отчаянно защищался епископ.

— А разве не церкви было заповедано: «Пасите овец моих»? — издевался Эрнест. И тут же спохватился: — Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках Юга?[23] Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночной смене, и это сплошь и рядом — при двенадцатичасовом рабочем дне? Они никогда не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, чтобы ваш брат священник лепетал с амвона этим держателям дивидендов, гладким и толстопузым, всякие умильные пошлости!

— Я ничего этого не знал, — чуть слышно прошептал епископ. Он побледнел и, казалось, боролся с тошнотой.

— Стало быть, вы не протестовали?

Епископ отрицательно покачал головой.

— Стало быть, церковь и ныне безмолвствует, как в восемнадцатом веке?

Епископ опять промолчал, но Эрнест и не настаивал на ответе.

— Кстати, не забудьте, что, если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распроститься со своей кафедрой и приходом.

— По-моему, вы преувеличиваете, — кротко заметил епископ.

— И вы решились бы протестовать? — спросил Эрнест.

— Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать.

— Я покажу их вам, — спокойно сказал Эрнест. — Можете располагать мной. Я проведу вас через ад.

— Хорошо. И тогда я буду протестовать. — Епископ выпрямился в своем кресле, его кроткое лицо выражало решимость воина. — Церковь больше не будет безмолвствовать?

— Вас лишат сана, — предостерег Эрнест.

— Я докажу вам обратное, — ответил епископ. — Если все, что вы говорите, правда, я докажу вам, что церковь заблуждалась по неведению. Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неведением, в коем пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва до него дойдет эта весть. А долг принести ему эту весть лежит на церкви.

Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступиться за епископа.

— Не забывайте, — сказала я, — что вам знакома только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам закоренелыми злодеями. Епископ прав. Те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что пропасть, разделяющая общественные классы, слишком уж велика.

— Дикари индейцы не так жестоки и кровожадны, как ваши капиталисты, — отвечал Эрнест.

В эту минуту я ненавидела его.

— Вы нас не знаете. Совсем мы не жестоки и не кровожадны!

— Докажите! — В голосе его звучал вызов.

— Как могу я доказать это… вам? — Я не на шутку рассердилась.

Эрнест покачал головой.

— Мне вы можете не доказывать; докажите себе.

— Я и без того знаю.

— Ничего вы не знаете, — отрезал он грубо.

— Дети, дети, не ссорьтесь, — попробовал успокоить нас папа.

— Мне дела нет… — начала я возмущенно, но Эрнест прервал меня:

— Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании.

— Какое это имеет отношение к нашему спору? — негодовала я.

— Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, забрызгано кровью. Пища, которую вы едите, приправлена кровью. Кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этого потолка. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливает все вокруг.

Он и в самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слезы обиды и оскорбленного тщеславия брызнули из моих глаз. Никто еще не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло, но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах — ни искорки смеха. Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала, ибо в эту самую минуту кто-то внизу, на тротуаре, остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был рослый мужчина, бедно одетый; он тащил на спине гору плетеной мебели — стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо, раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар.

— Этого человека зовут Джексон, — сказал Эрнест.

— Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать вразнос[24], — раздраженно отозвалась я.

— Взгляните на его левый рукав, — мягко сказал Эрнест.

Я взглянула — рукав был пустой.

— За кровь этого человека вы тоже в ответе, — все так же миролюбиво продолжал Эрнест. — Джексон потерял руку на работе, он старый рабочий Сьеррской компании, однако вы, не задумываясь, выбросили его на улицу, как гонят со двора разбитую клячу. Когда я говорю «вы», я имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры Сьеррской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалованье. Джексон — жертва несчастного случая. Его погубило желание сберечь Компании несколько долларов. Ему бы оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубья барабана, — поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела. А Джексон потянулся за кремнем; вот ему и размозжило руку по самое плечо. Дело было ночью. Работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, мускулы его потеряли упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей.

— Что же сделала для него Компания? — спросила я.

— Ничего. Виноват! Кое-что сделала: она опротестовала иск Джексона о возмещении за увечье, предъявленный им после выхода из больницы. К услугам Компании, как вам известно,

опытнейшие юристы.

— Вы освещаете дело односторонне, — уверенно сказала я. — Может, вам не все известно. Человек этот, должно быть, дерзко вел себя.

— Дерзко вел себя? Ха-ха-ха! — саркастически рассмеялся Эрнест. — Человек с начисто отхваченной рукой осмелился кому-то дерзить! Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним не водится.

— А суд? — не сдавалась я. — Если бы все было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона.

— Главный юрисконсульт Компании, полковник Ингрэм, весьма искушенный юрист. — С минуту Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал: — Вот, мисс Каннингхем, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус.

— Я и без вашего совета собиралась это сделать, — холодно ответила я.

— Прекрасно. — Он смотрел на меня с подкупающим добродушием. — Я расскажу, где его найти. Но только мне страшно подумать, что раскроет вам рука Джексона.

Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды: мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем, что такое поведение естественно для бывшего рабочего.

Глава третья. Рука Джексона

Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль?

Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хибарке[25], на окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом. Вокруг домика, в огромных лужах, затянутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяя невыносимую вонь.

Джексон оказался именно тем тихим, безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне все же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал:

— Уж местечко сторожа[26] они могли бы мне дать.

Он разговаривал неохотно и показался бы мне тупицей, если бы не та ловкость, с какой он работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проворными движениями, я с удивлением спросила:

— Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?

Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Сам не знаю. Так уж получилось.

— Неосторожность? — не отставала я.

— Нет, — отвечал он. — Я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь семнадцать лет оттрубил на этой фабрике и скажу вам, что большинство несчастных случаев бывает как раз перед гудком[27]. За весь рабочий день их не наберется столько. Когда много часов простоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило! Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает.

— И много вы знаете таких случаев?

— Сотни. С ребятишками тоже бывает.

За исключением этих страшных подробностей рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, Джексон отрицательно покачал головой.

— Я правой рукой сбросил привод, а левой думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо. А я понадеялся на себя, вот в чем моя ошибка. Ремень соскочил только наполовину, и мне втянуло левую руку по самое плечо.

— Больно было? — посочувствовала я.

— Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости.

Джексон плохо представлял себе, что было на суде, и только повторял, что суд «ничего ему не присудил». Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», — повторял он. Я решила допросить этих свидетелей.

Одно не подлежало сомнению: положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью. Они много задолжали за квартиру, и старший мальчуган, лет одиннадцати, недавно поступил на фабрику.

— Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти, — сказал мне Джексон, прощаясь.

Последующие свидания с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями на суде, убедили меня, что Эрнест не далек от истины в своих предположениях.

Адвокат, щуплое, загнанное существо, производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона, и подумала: ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста: «К услугам Компании, как вам известно, опытнейшие юристы» и «Полковник Ингрэм — весьма искушенный юрист». Я только сейчас поняла, что Компании легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку рабочему. Но все это, как я догадывалась, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьезные причины, чтобы Джексону было отказано в иске.

— Почему вы проиграли дело? — спросила я адвоката.

Первое мгновение он как-то съежился и растерялся; во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезение преследовало этого человека с колыбели. Он пожаловался на свидетелей. Все их показания были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему.

Джексон — болван. Полковнику Ингрэму ничего не стоило запугать его и сбить с толку. С полковником Ингрэмом не потягаешься, он — король перекрестного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний.

— Как мог Джексон дать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он?

— Что значит прав? — ответил он вопросом на вопрос. — Видите эти книги? — И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. — Все это мной изучено от корки до корки. Зато я теперь знаю, что одно дело — правда, а другое — закон. Спросите любого юриста. Что такое правда, вам расскажут в воскресной школе; а закон — он здесь, в этих книгах.

— Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но что это не помешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что судья Колдуэлл судит не по правде?

Адвокат вызывающе уставился на меня, но постепенно воинственный задор потух в его глазах.

— Поймите и меня тоже, — опять захныкал он. Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался положении. Полковник Ингрэм — светило юридического мира. Если б он не был светилом, думаете, Сьеррская компания поручала бы ему свои дела? И не только Сьеррская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании — Окленд, Сан-Леандро и Плезантонская. Он поверенный корпораций, а поверенные корпораций получают большие оклады не для того, чтобы проваливать дела в суде[28]. Как вы думаете, почему одна только Сьеррская компания платит полковнику Ингрэму двадцать тысяч в год? Потому что он стоит этих денег! Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, я не промышлял бы чем Бог пошлет и не брался бы за такие дела, как иск Джексона. Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?

— Очевидно, вы обокрали бы Джексона, — ответила я.

— Можете не сомневаться, — рассердился адвокат. — Жить-то мне надо, как вы полагаете?[29]

— Но у него жена и дети, — пожурила я его.

— А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба.

Лицо его внезапно посветлело, он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками.

— Вот они. Взгляните. Нелегко им живется, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают. Но какая там дача! На это нужны средства.

Когда я собралась уходить, он опять заныл:

— Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник Ингрэм и судья Колдуэлл — добрые друзья. Конечно, этим еще не все сказано: если бы мне удалось на перекрестном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания, не дружба их решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и неудивительно. Судья Колдуэлл и полковник Ингрэм — члены одной ложи и одного клуба; да и живут они рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга.

Постоянно званые вечера, вист и все такое — то у одной, то у другой.

— Так Джексон все-таки был прав? — спросила я уже с порога.

— Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело. Но жене не говорил, — из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.

— Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? — спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.

Он долго думал, прежде чем ответить. Потом боязливо огляделся и сказал:

— Потому что у меня славная жена и трое ребятишек — таких ребят поискать надо, — вот почему!

— Я вас не понимаю, — сказала я.

— Проще говоря, мне бы не поздоровилось…

— Вы хотите сказать…

Но он прервал меня с ожесточением:

— Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте; и если я буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы Компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете — Компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой и жизнь моих детей… Вот почему я и шагу не сделаю против Компании.

— Ну, а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?

— Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.

— Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?

Он покачал головой.

— Правду, всю правду и одну только правду? — торжественно произнесла я.

Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза — не на меня, на небо.

— Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь — я все вытерплю ради моих детей! — сказал он.

Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джемсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше

простого рабочего. Также, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: Компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.

— Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, — сказал он.

Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз, — мое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, — и внутренне поежилась.

— В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, — сказала я.

— Да, умолчал. — Смит сурово стиснул губы. — Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что Компания тут ни при чем.

— Он действительно проявил небрежность?

— Называйте, как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.

Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.

— Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, — сказала я.

— Я получил среднее образование, — ответил Смит. — Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, — смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. — Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се — словом, я уже себе не хозяин.

— Что вы этим хотите сказать? — спросила я.

— Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.

— Кто их от вас потребовал?

— Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.

— И это погубило Джексона?

Смит кивнул. По лицу его расползался темный румянец.

— У Джексона жена и двое детей, он их единственный кормилец.

— Знаю, — спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.

— Скажите, — продолжала я. — Трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?

Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся[30] и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.

— Простите, — сказал он, опомнившись. — Да, это было трудновато. А теперь пора вам уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю, вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово, — если понадобится, под присягой.

После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.

— Я тут занялась делом Джексона, — сразу начала я.

Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.

— С ним и правда обошлись бесчеловечно, — призналась я. — Я... я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.

— Разумеется, — сказал Эрнест. — Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.

— Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, — сказала я.

Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.

— В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, — совершенно серьезно заметил Эрнест. — На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и никому другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?

Я рассказала ему все.

— Да, никто из этих людей в себе не волен, — заметил Эрнест. — Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая, юная поросль, взывают к их нежности — и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины, — она искалечила его жизнь, преждевременно состарила его и убила.

— Ну, а вы? — прервала я его. — Ведь вы же сами себе хозяин?

— Не совсем, — возразил он. — Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, я не позволил бы себе иметь детей.

— Ну, это никуда не годная точка зрения! — воскликнула я.

— Знаю, — сказал он печально, — но она не лишена смысла. Я — революционер, а это опасная профессия.

Я недоверчиво рассмеялась.

— Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтоб украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал? Как вы думаете?

— У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас.

— А если бы я и мои товарищи ввели в жилища богачей полуторамиллионную армию[31], — представляете, какая началась бы пальба?

— Но вы этого не делаете, — возразила я.

— Ошибаетесь, я именно это и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств — рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое революция. Это действительно опасное занятие. Боюсь, пальба начнется такая, что она превзойдет даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил, все мы в той или иной мере рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен ее колесами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с кем вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона, поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они — рабы этой машины.

В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнеста, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных.

— На эту тему написано немало исследований, — говорил Эрнест. — Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает, зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растет.

Знаете ли вы, что у вашего отца в три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это как нельзя лучше известно страховым обществам[32]. За тысячедолларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год четыре доллара двадцать центов, а рабочему за такой же полис приходится платить пятнадцать долларов в год.

— А каковы ваши шансы? — спросила я и тут же почувствовала, что мой вопрос выдает слишком большое участие.

— У революционера по сравнению с рабочим в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным, — ответил он беспечно. — Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, в восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе не приемлемый клиент. Но почему вы спрашиваете?

Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает мне щеки. И не потому, что сердце мое открылось Эрнесту, а потому, что оно открылось мне самой — в его присутствии.

Вошел папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал:

— Кстати, раз вы уж заняты тем, что губите свое душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт. Мужья их, как вы знаете, главные акционеры Сьеррской компании. Как и все мы,

грешные, обе эти дамы привязаны к промышленной машине, с той лишь разницей, что они забрались на самую вышку.

Глава четвертая. Рабы машины

Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация — все оказалось миражем. До сих пор жизнь и общество были известны мне по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же соприкосновении с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах.

Чудовищным, немыслимым казалось мне утверждение, будто все наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему, подобно компасной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за его кровь, чтобы отсчитать акционерам тем большие дивиденды. Я знала множество беспечно-благодушных семейств, которые получили эти дивиденды, а с ними и малую толику крови Джексона. Но если так поступили с одним человеком, и общество равнодушно проходит мимо, та же участь, должно быть, постигает многих. Я вспомнила рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, гнущих спину за девяносто центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это их худенькие, восковые ручки сработали ткань, из которой сшито мое платье. А наше участие в прибылях Сьеррской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона брызнула и на мое платье. Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону.

Какой-то тайный голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадет завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении. Прежде всего мой отец, — я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвел на меня впечатление больного. Весь он как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намекам я догадывалась, что Эрнест сдержал свое обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа, оставалось для меня тайной, — бедняга был так ошеломлен, что не мог говорить об этом.

Однажды, когда ощущение, что все рушится, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять Эрнеста. «Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно...» И тут же испугалась этой мысли, как отступничества, и Эрнест предстал мне преображенным. С светлым, сияющим челом, словно ангел господень, не ведающий страха, он явился мне глашатаем правды, борющимся с ложью и несправедливостью за лучшую жизнь для бедных, сирых и угнетенных. Я подумала о Христе. Ведь и он был заступником смиренных и обездоленных — против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого, я испугалась за Эрнеста. Неужели и он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным, сильным телом, юноша, чей голос звучит как призыв горна и звон оружия!

В эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая угрюмая, суровая, бесприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждала обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему, хотя бы на короткий миг, покой, — только покой и светлое забвение.

С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах

давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фикусами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринужденностью. Это был приятный, обходительный человек, тактичный и любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым.

Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был в себе волен. Он тоже был рабом промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нем вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалось его ласковое добродушие! Ни следа благовоспитанности на холеном лице, искаженном гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую мистером Смитом. Правда, полковник Ингрэм не стал браниться — единственное, что отличало его от фабричного рабочего, — но даже обычная находчивость — полковник слыл остряком — на этот раз изменила ему. Озираясь по сторонам, он, казалось, искал, куда бы улизнуть. Но пальмы и фикусы держали его в западне.

Господи, опять этот Джексон! Что за фантазия докучать ему этим человеком? Подобные шутки не делают чести ни уму моему, ни такту. Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В суде он чувствует и действует только как профессионал.

Я спросила, полагалась ли Джексону компенсация.

— Разумеется, — сказал он. — Вернее, таково мое личное мнение. Но формально он был неправ.

Очевидно, полковник вновь обретал свою обычную находчивость.

— Разве сила закона не в том, что он служит справедливости? — спросила я.

— Сила закона в том, что он служит силе, — улыбаясь, отпарировал полковник.

— А где же наше хваленое правосудие?

— Что ж, сильный всегда прав, — тут нет никакого противоречия.

— И это тоже — суждение профессионала?

Как ни странно, на лице у полковника Ингрэма проступила краска стыда. Глаза его снова забегали по сторонам, но я решительно загораживала ему единственный выход.

— Скажите, а разве подчинение своих личных взглядов профессиональным не является нравственным самокалечением, своего рода умышленным членовредительством?

Ответа не последовало. Полковник пустился наутек, повалив в своем бесславном бегстве кадку с пальмой.

Я решила обратиться в газеты и написала спокойную, сдержанную, вполне объективную заметку о случае с Джексоном. Никого не обвиняя, ни словом не касаясь тех, с кем мне пришлось беседовать, я ограничилась одними лишь фактами; рассказала, сколько лет Джексон проработал на фабрике, как, желая спасти машину от поломки, он пострадал сам и в каком отчаянном положении оказались и он и его семья. Моей заметки не напечатала ни одна из трех местных газет и ни один из журналов.

Тогда я разыскала Перси Лейтона. Он только недавно окончил университет и стажировал в качестве репортера в самой влиятельной нашей газете. Когда я спросила его, почему вся наша пресса так боится дела Джексона, он рассмеялся.

— Такова наша издательская политика. Мы, мелкая сошка, тут ни при чем. Это дело редакций.

— Какая политика? — спросила я.

— А такая, что мы всегда заодно с корпорациями. Никто не поместит такой заметки, хоть бы вы заплатили за это, как за объявление. Всякий, кто помог бы вам протащить ее в печать, слетел бы в два счета. Заплатите, как за десять объявлений, все равно никто ее у вас не возьмет.

— Какова же ваша роль в этой политике? — спросила я. — Вы, верно, часто поступаетесь правдой — в угоду начальству, как начальство жертвует ею в угоду корпорациям?

— Меня это не касается. — Лейтон смутился, но ненадолго. — Мне не приходится писать неправду, и совесть у меня чиста. Но, конечно, в нашем деле нельзя иначе. Такая уж это работа, — закончил он с мальчишеской лихостью.

— Но когда-нибудь ведь и вы станете редактором и будете проводить эту политику?

— К тому времени я уже буду прожженным журналистом, — усмехнулся он.

— Но пока вы не прожженный журналист, скажите, что вы лично думаете о газетной политике?

— Ничего не думаю, — отвечал он без запинки. — Выше лба уши не растут — вот золотое правило для всякого журналиста, если он хочет преуспеть в жизни.

И Лейтон преважно тряхнул головой.

— А хорошо это? — настаивала я.

— Хорошо все, что хорошо кончается, не правда ли? Не мы установили правила этой игры, и нам остается только им подчиниться. По-моему, это ясно.

— Да уж чего ясней, — пробормотала я. Но мне больно было за его молодость, и я не знала — возмущаться или плакать.

Я начинала понимать, что скрывает в себе общество, в котором я жила, и за внешним благообразием угадывала ужасную действительность. Казалось, против Джексона существовал молчаливый заговор, и я уже с сочувствием думала о плаксивом адвокатишке, который так неудачно вел его дело. Но молчаливый заговор был много шире и касался не только Джексона. Участь Джексона разделяли и другие рабочие, искалеченные машиной, и не только на фабриках Сьеррской компании, но и на других заводах и фабриках, да и во всей промышленности.

А если так, значит, все наше общество зиждется на лжи! В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обагрившая мое платье и каплями стекающая с нашей крыши. Передо мной было много Джексонов, — разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона.

Я побывала также у мистера Уиксона и мистера Пертонуэйта, крупнейших акционеров Сьеррской компании. На них мои рассказы о Джексоне не произвели никакого впечатления; их люди оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считаются с общепринятой моралью, что у них в обиходе своя, аристократическая мораль, мораль господ[33]. Они напыщенно рассуждали о своей особой «политике», утверждая, что то, что для них полезно, то и справедливо. Со мной они говорили по-отечески наставительно, снисходя к моей молодости и неопытности. Среди тех, с кем столкнули меня мои расследования, эти оказались самыми бесчувственными и зачерствелыми. Оба были абсолютно уверены в своей правоте. Оба смотрели на себя, как на спасителей человечества, считая, что только от них зависит благополучие масс. И они самыми мрачными красками рисовали страдания, на которые были бы обречены рабочие, если бы не мудрость богачей, обеспечивающих им работу.

При первой же встрече с Эрнестом я изложила ему все.

Он просиял от удовольствия:

— Да вы, оказывается, молодчина. Решили самостоятельно доискиваться правды! Ну что ж, ваши обобщения основаны на опыте, и они верны. Ни один человек, прикованный к промышленной машине, не волен в своих мыслях и поступках, кроме крупных капиталистов, а те и подавно не вольны, — простите мне этот ирландизм[34]. Как видите, наши властелины настаивают на своей правоте. Ну, разве это не верх комизма? В них так еще сильна человеческая природа, что они и шагу не ступят, не спросясь собственной совести. Им, видите ли, нужна моральная санкция для их многообразных дел.

Всякий раз, как они затевают что-нибудь новенькое, — в области бизнеса, конечно, — они норовят опереться на соответствующую доктрину — религиозную, нравственную, научную или философскую, — подтверждающую их правоту. А там — за дело; неважно, что ум человеческий слаб и желание свое нередко принимает за объективную истину. Что бы они ни задумали, за санкцией дело не станет. Это — беспардонные казуисты. К тому же они и иезуиты, так как пускаются на любые злодеяния, уверяя, что из этого воспоследует добро. Одна из их любимейших аксиом — что они цвет нации, квинтэссенция ее мудрости и энергии. Это дает им право держать на пайке все остальное человечество и каждому устанавливать его рацион. Они даже возродили учение о божественном происхождении королевской власти — разумея королей финансовых и промышленных[35].

Слабость их положения в том, что они дельцы и только, и никакие не философы, биологи или социологи. Если бы они были тем, или другим, или третьим, это бы еще куда ни шло. Делец, который был бы в то же время биологом и социологом, представлял бы себе в какой-то мере нужды человечества. Но нет, вне своей области они круглые невежды. Они знают только свой бизнес. Ничего другого у них нет за душой. Интересы общества и человечества — для них книга за семью печатями. И эти-то самозванцы берутся вершить судьбы миллионов голодных людей да и всего остального человечества в придачу! Когда-нибудь история зло посмеется над ними!

Разговор с миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт уже не мог принести мне ничего нового. Обе они были дамы из общества[36]. У каждой был свой пышный дворец в нашем городе и множество других пышных дворцов — в горах, на взморье, на берегах живописных озер. В их распоряжении были целые полчища слуг. Обе дамы были видные патронессы, оказывавшие покровительство университету и нескольким храмам в городе, — священники особенно ценили их благодеяния и пресмыкались перед ними[37]. Словом, это были влиятельные дамы, дамы с весом, причем вес им давали деньги, а влияние заключалось в том, что они успешно пускали

эти деньги в оборот для идейного подкупа своих сограждан. Все это я вскоре узнала от Эрнеста.

Подобно своим мужьям, они напыщенно рассуждали о «политике» богачей, об их ответственности и обязанностях. Подобно им, верили в свое право руководствоваться особой моралью, составляющей прерогативу их класса; обе много и пространно рассуждали, причем смысл их громких фраз был темен и для них самих.

Обе дамы разгневались, когда я рассказала им о тяжелом положении семьи Джексона, а особенно, когда выразила удивление, как это они ничего не сделали для бедного калеки по собственному почину. Мне было заявлено, что они не нуждаются в непрошеных советах и указаниях. Когда же я прямо попросила их помочь Джексону, обе дамы категорически отказались. Меня особенно удивило, что отказ их прозвучал одинаково, хоть я и говорила с каждой в отдельности и ни та, ни другая не знали, что я навестила или собираюсь навестить ее подругу. Каждая из них была рада случаю подчеркнуть, что не в ее правилах награждать рабочих за небрежность; к тому же это значило бы вводить в соблазн бедняков, все они, пожалуй, так и начнут себя калечить[38].

Обе дамы и в самом деле так думали. Они упивались сознанием своего классового и личного превосходства. Каждый их поступок был освящен классовой моралью. Покидая пышный дворец Пертонуэйтов, я невольно оглянулась назад, вспоминая слова Эрнеста, что эти богачки тоже прикованы к промышленной машине, но только они сидят наверху.

Глава пятая. Клуб филоматов[39]

Эрнест часто бывал у нас, и не только общество отца и наши обеды с традиционными дискуссиями привлекали его к нам. Я втайне лелеяла надежду, что без меня наш дом не обладал бы для него такой притягательной силой, и вскоре это подтвердилось. Эрнест нисколько не походил на обычного воздыхателя. Его рукопожатие становилось все крепче, все настойчивее, а глаза, в которых я с первых же дней улавливала какой-то вопрос, вопрошали все повелительнее.

Я уже говорила, что сначала Эрнест не понравился мне. Потом меня повлекло к нему, но вскоре оттолкнули его яростные нападки на меня и на мой класс. Затем, убедившись, что он не злопыхательствует и даже не сгущает краски, я стала искать его дружбы. Он сделался моим учителем. Он обнажил передо мной подлинную сущность окружающего общества и научил под масками и личинами распознавать жестокую правду.

Как я уже сказала, Эрнест не был похож на обычного воздыхателя. Нет девушки в университетском городе, которая в двадцать четыре года не имела бы кое-какого опыта в сердечных делах. Наряду с атлетами из спортклуба и коренастыми футболистами мне объяснялись в любви и безусые первокурсники и почтенные профессора. Но ни один из них не выражал своих чувств так, как Эрнест. Сама не знаю, как я впервые очутилась в его объятиях. Не успела я опомниться, как губы его завладели моими. Перед его простотой и искренностью казалась бы смешной чопорность оскорбленной девы. Он вихрем ворвался в мою жизнь и увлек за собой со всей порывистостью своей натуры. Он так и не сделал мне предложения. Его поцелуи и объятия сказали мне яснее всяких слов, что мы поженимся. И никаких разговоров, объяснений. Если и были разговоры, то значительно позднее, и только о том, когда мы поженимся.

Все это было так изумительно, что казалось каким-то сном. Но, подобно тому, что Эрнест говорил об истине, это выдержало испытание, я доверила этому свою жизнь. Благословенна

будь моя вера! И все же в первые дни нашей любви я не раз с тревогой думала о горячности Эрнеста. Напрасные опасения! Ни одной женщине не был дарован такой нежный, преданный супруг. Нежность и неудержимая порывистость так же чудесно сочетались в его натуре, как в его внешнем облике угловатость и непринужденность движений. Милая мальчишеская угловатость! Эрнест так и не преодолел ее, меня же она всегда умиляла. В нашей гостиной он казался вежливым слоном, попавшим в посудную лавку[40].

Если у меня еще оставались какие-то неясные сомнения в моих собственных чувствах, то вскоре и они рассеялись. Это произошло на вечере в клубе филоматов, на котором Эрнест дал нашим городским тузам форменный бой, напав на них в их собственном логове. Клуб филоматов считался самым изысканным на Тихоокеанском побережье, в него допускали только избранных. Он был созданием мисс Брентвуд, богатейшей старой девы, которая только им и дышала и которой он заменял и мужа, и детей, и комнатную собачку. Членами клуба состояли первейшие богачи города, причем главным образом оголтелые реакционеры; для придания клубным сборищам некоторой видимости духовных интересов в члены принимали и кое-кого из наших ученых.

У филоматов не было постоянного помещения. Это был клуб особого рода. Раз в месяц собирались у кого-нибудь из постоянных членов послушать доклад или лекцию. Лекторы обычно бывали платные. Если в Нью-Йорке какому-нибудь химику удавалось открыть что-то новое, скажем в области радия, клуб не только оплачивал ему дорожные расходы в оба конца, но щедро вознаграждал за потраченное время. Точно так же приглашался и знаменитый путешественник, вернувшийся из полярной экспедиции, писатель или художник, стяжавший шумную славу. Посторонние на эти вечера не допускались, и дискуссии филоматов не подлежали оглашению в прессе. Благодаря этому видные государственные деятели имели возможность — и это не раз бывало — высказываться здесь без стеснения.

Я достаю пожелтевшее от времени смятое письмо Эрнеста, написанное двадцать лет назад, бережно расправляю его и выписываю следующие строки:

«Твой отец — член клуба филоматов, воспользуйся этим и приходи на их очередное собрание в будущий вторник. Ручаюсь, что не пожалеешь. Во время твоих недавних встреч с нашими властителями тебе не удалось задать им встряску. Приходи, и я сделаю это за тебя. Увидишь, какой они поднимут вой. Ты взывала к их совести, но на это они отвечают лишь надменным презрением. Я же буду угрожать их карману. Тут-то они и покажут свое звериное естество. Приходи, и ты увидишь, как пещерный человек во фраке, лязгая зубами и огрызаясь, рычит над костью. Обещаю тебе грандиозный кошачий концерт и поучительную демонстрацию нравов и повадок хищных зверей.

Меня зовут, чтобы растерзать на части. Эта счастливая мысль принадлежит мисс Брентвуд. Она сама проговорилась мне, приглашая на вечер. Оказывается, ей не впервой угощать своих клубменов таким пикантным блюдом. Им, видишь ли, нравится, когда ручные радикалы преданно смотрят им в глаза. Мисс Брентвуд полагает, что я ласков, как теленок, и туп и флегматичен, как вол. Не скрою, я помог ей утвердиться в этом мнении. Она долго пытала меня на все лады, пока не убедилась в полной моей безобидности. Мне обещан завидный гонорар — двести пятьдесят долларов, какой и подобает человеку, который, будучи радикалом, баллотировался однажды в губернаторы. Приказано явиться во фраке. Это обязательно! Я в жизни не облачался во фрак. Придется, видно, взять напрокат. Но я пошел бы и на большее, чтобы добраться до филоматов».

Собрание по случайному совпадению происходило во дворце Пертонуэйтов. Огромная гостиная была заставлена стульями: послушать Эрнеста собралось человек двести. Все это были наши

столпы. Я развлекалась тем, что мысленно подсчитывала общую сумму представленных здесь состояний, и скоро насчитала несколько сот миллионов. Владельцы всех этих миллионов не были праздными богачами, из тех, что стригут купоны. Это были дельцы, игравшие видную роль в промышленности и политике.

Слушатели уже заняли свои места, когда мисс Брентвуд ввела Эрнеста. Войдя, они сразу же прошли туда, где было приготовлено место для оратора. Эрнест был великолепен в черном фраке, хорошо оттенявшем его мужественную фигуру и благородную посадку головы. Чуть заметная неловкость движений нисколько не портила его. А я, кажется, за одну эту мальчишескую неуклюжесть влюбилась бы в Эрнеста. При взгляде на него здесь, в этом зале, меня охватило чувство огромной радости. Я снова держала его руку в своей, снова ощущала его поцелуи и готова была с гордостью встать и прокричать на весь зал: «Он мой! Меня он сжимал в своих объятиях и ради меня забывал о высоких мыслях, что безраздельно владеют его душой».

Мисс Брентвуд представила Эрнеста полковнику Ван-Гилберту, и я поняла, что это он будет вести собрание. Среди юристов корпораций Ван-Гилберт считался знаменитостью. К тому же он был неимоверно богат. Говорили, что он не берется за дело, если оно не сулит ему по меньшей мере стотысячного гонорара. В своей области это был виртуоз. Закон становился в его руках игрушкой, с которой он делал, что вздумается. Он мял его, как глину, ломал, корежил, кроил, выворачивал наизнанку. В одежде и приемах красноречия полковник следовал старой моде, зато догадкой, изворотливостью и находчивостью был молод, как новоиспеченный закон. Известность пришла к нему после того, как он добился пересмотра шардуэлловского завещания[41].

Этот процесс принес ему полумиллионный гонорар, и с тех пор полковник Ван-Гилберт сделал головокружительную карьеру. Его часто называли первым адвокатом страны, имея в виду, разумеется, адвокатов корпораций. А уж к тройке лучших адвокатов Америки его причисляли все.

Полковник поднялся с места и произнес несколько затейливых вступительных фраз, не без скрытой иронии представляя оратора собравшимся. Его заявление, что они видят перед собой борца за рабочее дело, к тому же рабочего по происхождению, прозвучало даже игриво и вызвало веселые улыбки. Возмущенная, я взглянула на Эрнеста и тут окончательно рассердилась. Он, казалось, не придавал значения этим намекам, более того — видимо, не понимал их. Он сидел полусонный и вялый, с видом благодушного увальня и совершенного простака. Я подумала: «А что, если Эрнест и вправду ошеломлен этой выставкой учености и власти?» И тут же рассмеялась. Нет, Эрнесту не удастся провести меня. Зато других он действительно обманул, как раньше обманул мисс Брентвуд. Почтенная дева сидела в первом ряду, и, сияя улыбкой, переговаривалась с соседями.

Когда полковник Ван-Гилберт кончил, слово было предоставлено Эрнесту. Он заговорил тихо и скромно, слегка запинаясь от видимого смущения. Начал с того, что сам он вышел из рабочей среды и провел свое детство в нищете, среди грязи и невежества, которые равно калечат душу и тело рабочего человека. Он описал честолюбивые стремления своей юности, которые влекли его в тот рай, каким по его представлению была жизнь привилегированных классов. Он говорил:

— Я верил, что там, наверху, можно встретить подлинное бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я почерпнул эти сведения из многочисленных романов серии «Сисайд» [42], где все герои, исключая злодеев и интриганок, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в делах бескорыстия и

доблести. Короче говоря, я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра снова взойдет на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено все чистое, прекрасное, благородное, все то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения.

Затем Эрнест описал свою жизнь на заводе, годы ученичества в кузнечном цеху и встречи с социалистами. Среди них, рассказывал он, было немало талантливых, выдающихся людей: священники, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей маммоны, и бывшие профессора, не сумевшие ужиться в университете, где насаждается угодничество и раболепие перед правящими классами. Социалисты, говорил Эрнест, — это революционеры, стремящиеся разрушить современное, неразумное общество, чтобы на его развалинах построить новое, разумное. Он рассказывал еще многое, всего не перечесть, но особенно памятно мне, как он описывал жизнь революционеров. В голосе его зазвучала уверенность и сила, и слова жгли, как огонь его души, как сверкающая лава его мыслей. Он говорил:

— У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, беззаветную преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Я общался с людьми горячего сердца, для которых человек, его душа и тело дороже долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, нежели шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества. Я видел вокруг себя благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звезд. В их чистом пламени сверкала предо мной чаша святого Грааля — символ страждущего, угнетенного человечества, обретающего спасение и избавление от мук.

Если раньше я в мечтах видела Эрнеста преображенным, то теперь мечты мои стали явью. Лицо его горело вдохновением, глаза сверкали, радужное сияние окутывало его словно плащом. Но так как никто, кроме меня, не видел этого сияния, я вынуждена была сказать себе, что это слезы любви и радости застилают мне глаза. Во всяком случае, мистер Уиксон, сидевший позади, не проявлял никаких признаков волнения, и я слышала, как он насмешливо процедил сквозь зубы: «Несбыточный бред! Утопия!» [43].

Эрнест рассказывал, как, получив доступ в привилегированные круги, он впервые столкнулся с представителями господствующего класса, с людьми, занимающими видное общественное положение. Но тут для него началась пора разочарований, — и об этой поре он говорил в выражениях, весьма нелестных для аудитории. Он возмущался ничтожеством человека, жизнью, лишенной красоты и смысла. Его ужасал эгоизм этих людей, удивляло полное отсутствие у них духовных интересов. После встреч с революционерами он не мог надивиться тупости и ограниченности представителей правящих классов. Сколько бы они ни возводили пышных церквей и какие бы оклады ни платили своим проповедникам, — все они, как мужчины, так и женщины, были грубыми материалистами. Хоть у них имелись про запас их грошовые идеалы и ханжеские сентенции, главным стимулом их поведения был грубый расчет. Заветы любви были им чужды — в том числе и те, которые преподал нам Христос и которые были теперь окончательно забыты.

— Я знал людей, — рассказывал Эрнест, — которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали оружие пинкертонам[44] и посылали их убивать бастующих рабочих; людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в фальсификации продуктов, отчего ежегодно умирает младенцев больше, чем их было на совести кровавого Ирода.

Вот утонченный джентльмен с аристократической внешностью, он зовется директором фирмы, на деле же он пешка, орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редких изданий, радеющий о литературе, — им вертит скуластый, звероподобный шантажист, босс муниципальной машины. Вот издатель, рекламирующий в своей газете патентованные средства[45], — когда я предложил ему статью, разоблачающую эти знахарские снадобья, он назвал меня подлым демагогом. Этот коммерсант, благочестиво рассуждающий о бескорыстии и всеблагом провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный столп церкви, щедрой рукой поддерживающий миссионеров, — он принуждает своих работниц трудиться по десяти часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию. Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете и воздвигнуты пышные храмы, — он дает ложные показания на суде, чтобы выгадать возможно больше долларов и центов. Вот железнодорожный магнат, нарушающий слово джентльмена, гражданина и христианина тем, что он тайно входит со своими клиентами в соглашения о льготных тарифах и делает это часто. Вот почтенный сенатор, послушное орудие, раб, безответная марионетка грубого, невежественного босса и его политической машины[46], равно как и присутствующий здесь губернатор и член верховного суда, — всем троим открыт бесплатный проезд по железной дороге. А вон тому холеному господину принадлежат и босс, и его политическая машина, и железные дороги, отпускающие бесплатные проездные билеты.

Так случилось, что вместо рая я попал в бесплодную пустыню, где процветала только купля и продажа. Во всем, что не касалось торгашеских сделок, здесь царили невежество и бездарность. Ничего чистого, благородного, живого, — зато какое приволье для всякой гнили и разложения! Повсюду я наталкивался на чудовищное бессердечие и эгоизм да на грубое, плотоядное, черствое и очерствляющее делячество.

Эрнест еще много говорил своим слушателям о них самих и о постигшем его разочаровании. Интеллектуально они жалки, морально и духовно — отвратительны; он с радостью возвратился в стан революционеров, где люди боролись за чистое, благородное и живое дело, где можно было найти все то, чего не знали капиталисты.

— А теперь, — продолжал Эрнест, — я расскажу вам, что такое революция.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, я должна заметить, что яростные нападки Эрнеста нисколько не затронули слушателей. Оглядевшись вокруг, я увидела на всех лицах выражение каменного равнодушия и самодовольства. Я вспомнила замечание Эрнеста о том, что доводы морального порядка не оказывают на капиталистов никакого действия. Одна только мисс Брентвуд была встревожена несдержанностью и резкостью своего протеже и поглядывала на него растерянно, с опаской.

Эрнест начал с описания того, что представляет собой армия революции, и когда он стал называть цифры, характеризующие ее боевую мощь в каждой стране (количество голосов, поданных на выборах), собрание начало проявлять признаки беспокойства. Лица слушателей теперь выражали тревогу, губы были плотно сжаты. Но вот Эрнест бросил им вызов. Он заговорил об интернациональной организации социалистов и о том, что полтора миллиона американских рабочих она объединяет с двадцатью тремя с половиной миллионами рабочих всего мира.

— Двадцатипятимиллионная армия революционеров, — говорил Эрнест, — это такая грозная сила, что правителям и правящим классам есть над чем призадуматься. Клич этой армии: «Пощады не будет! Мы требуем всего, чем вы владеете. Меньшим вы не отделаетесь. В наши руки всю власть и попечение о судьбах человечества! Вот наши руки! Это сильные руки!

Настанет день, и мы отнимем у вас вашу власть, ваши хоромы и раззолоченную роскошь, и вам придется так же гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, как гнет ее крестьянин в поле или щуплый, голодный клерк в ваших городах. Вот наши руки! Это сильные руки!»

Говоря это, Эрнест простер вперед свои могучие руки, и его кулаки кузнеца яростно сжимались, хватая воздух, словно когти орла. В этой позе, сильный, плечистый, с грозно поднятыми руками, он казался символом победившего пролетариата, готового разить и крушить своих врагов. Еле заметное движение пробежало по залу, словно слушатели содрогнулись перед этим мощным, грозным и таким ощутимым видением революции. Вернее, содрогнулись женщины, на их лицах был написан страх. Мужчины не испугались: здесь собрались не беспечные лежебоки, а энергичные, деятельные люди, бойцы по натуре. Глухой гортанный ропот пронесся по рядам и тут же затих. Это был предвестник злобного ворчания, которое в тот вечер не раз поднималось в зале, указывая на пробуждение зверя в человеке, изобличая первобытную силу его страстей. Они сами не знали, что ворчат. Это бесновалась вся свора, — вся свора глухо рычала, сама того не замечая. Наблюдая растущее ожесточение на их лицах и воинственный блеск в глазах, я поняла, что нелегко будет вырвать из их лап господство над миром.

Атака продолжалась. В Соединенных Штатах потому полтора миллиона революционеров, заявил Эрнест, что капитализм обанкротился, власть его оказалось пагубной для общества. Эрнест обрисовал те условия, в которых когда-то жил пещерный человек, а ныне живут дикари. Они не знали употребления орудий и машин и в борьбе за существование опирались только на свои природные способности и силу — с коэффициентом производительности, который он условно приравнял к единице. Проследив постепенное развитие техники и общественных отношений, Эрнест указал, что производительность труда современного человека увеличилась по сравнению с производительностью дикаря в тысячу раз.

— Пятеро рабочих, — говорил он, — выпекают хлеб для тысячи человек. Один рабочий изготовляет хлопчатобумажной ткани на двести пятьдесят, шерстяной ткани на триста, обуви на тысячу человек. Естественно было бы думать, что в правильно организованном обществе современному цивилизованному человеку живется в тысячу раз лучше, нежели его предку, пещерному человеку. Но так ли это? Давайте посмотрим! Сегодня пятнадцать миллионов[47] граждан Соединенных Штатов живет в нищете, то есть в таких условиях, когда вследствие недостатка пищи и отсутствия нормального жилья силы человека не восстанавливаются и работоспособность снижается. Сегодня в Соединенных Штатах, несмотря на пресловутое рабочее законодательство, насчитывается три миллиона малолетних рабочих[48]. За двенадцать лет число их возросло вдвое. Кстати, разрешите спросить вас, хозяева страны, почему не опубликованы данные переписи тысяча девятьсот десятого года? Впрочем, можете не беспокоиться, я отвечу за вас: вы боитесь, как бы эти цифры, показатели человеческого злополучия, не ускорили революцию, которая собирается над вашей головой.

Но вернемся к моему обвинению. Если производительность труда человека наших дней по сравнению с временами пещерного человека возросла тысячекратно, почему же сегодня в Соединенных Штатах пятнадцать миллионов американцев голодны и не имеют жилья? Почему в Соединенных Штатах три миллиона детей работают на фабрике? Капиталисты оказались плохими хозяевами, этого обвинения нельзя опровергнуть. Убедившись, что современный человек живет хуже своего пещерного предка, хотя его производительность труда возросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к выводу, что капитализм обанкротился, что вы, господа, ваши преступные, хищнические методы хозяйничанья ввергли человечество в нищету. И здесь, на этой очной ставке, вы также не в состоянии ответить на мое обвинение, как весь класс капиталистов не в состоянии на него ответить полутора миллионам американских

революционеров. Вы мне не ответите, хоть я и призываю вас к ответу. Мало того, вы постараетесь не заметить брошенного вам обвинения. Вы предпочтете молчать, хотя каждый из вас будет бесконечно распространяться на другие темы.

Вы обанкротились. Цивилизацию вы превратили в бойню. Вот что сделала ваша слепота и жадность! Потеряв всякий стыд, всходите вы на трибуну в ваших законодательных собраниях, заявляя, что только труд младенцев и детей может спасти ваши прибыли. Это не голословное обвинение, против вас говорят ваши же официальные отчеты. Вы убаюкиваете свою совесть, болтая о каких-то грошовых идеалах и ханжеской морали. Распираемые властью и богатством, опьяненные могуществом, вы напоминаете праздных трутней, которые роями вьются над медовыми сотами; но настанет день, и работницы-пчелы налетят со всех сторон, чтобы избавить мир от разъевшихся лодырей. Ваша власть оказалась пагубной для общества, значит, нужно отнять у вас власть! Полтора миллиона американских рабочих заявляют, что они объединят вокруг себя весь рабочий люд и отнимут у вас власть... Это, господа, и есть революция! Попробуйте остановить ее!

Когда Эрнест умолк, раскаты его голоса еще долго отдавались в притихшей гостиной. Но вот в рядах поднялось то характерное гортанное ворчание, которое я уже слышала раньше, и полтора десятка человек вскочило с места, требуя внимания председателя. Заметив, что у мисс Брентвуд, сидевшей впереди, судорожно прыгают плечи, я вообразила, что она смеется над Эрнестом. Но оказалось, что это истерика. Бедняжка считала себя в ответе за бомбу, взорвавшуюся среди ее возлюбленных филоматов.

Полковник Ван-Гилберт, видимо, не замечал, что десятка полтора человек с перекошенными злобой лицами требуют у него слова. Его лицо тоже было перекошено злобой. Вскочив с места и отчаянно размахивая руками, он силился что-то сказать, но из горла его вырывалось только мычание. Наконец он заговорил. Однако на сей раз речь полковника не была блестящим образчиком его стотысячедолларового искусства, не блистала она и старосветской риторикой.

— Вздор и софистика! — заорал он во все горло. — Слыхано ли дело! Битый час вы заставили нас сидеть здесь и выслушивать вздор и софистику. Знайте же, молодой человек, что за весь вечер вы не сказали ни одного нового слова. Меня пичкали всем этим еще в колледже, когда вас и на свете не было. Жан Жак Руссо опередил всю вашу братию ни много, ни мало на двести лет, это ему принадлежит честь открытия ваших социалистических теорий! Клич «Назад к земле!» — нашли чем удивить! Возвращение к первобытному состоянию! Биология учит нас, что даже природа не знает движения вспять. Вот уж, действительно, ничего нет страшнее недоучки, в этом вы сегодня лишний раз убедили нас своими сумасшедшими теориями. Вздор и софистика! Сыт по горло! Вот и все, что я имею сказать в ответ на ваши скороспелые обобщения и ребяческие доказательства.

Полковник презрительно щелкнул пальцами и уселся на свое председательское место. Послышались восторженные возгласы женщин и одобрительное мычание мужчин. Половина ораторов, давно уже требовавших слова, заговорила разом. Началось невообразимое смятение и шум. Никогда еще просторная гостиная миссис Пертонуэйт не видела в своих стенах ничего подобного. С удивлением узнавала я наших надменных промышленных королей, наших столпов общества в этих хрипящих, ревущих дикарях, облаченных во фраки. Эрнесту удалось-таки расшевелить их тем, что он потянулся к их бумажнику руками, за которыми им виделись руки полутора миллионов революционных американских рабочих.

Но Эрнест никогда не терял присутствия духа. Едва полковник Ван-Гилберт опустился на свое место, как Эрнест вскочил и рванулся вперед.

— Не все сразу! — загремел он во всю силу своих легких.

Раскаты этого зычного голоса покрыли шум в зале. Одним лишь властным воздействием своей личности Эрнест добился тишины.

— Поодиночке. Не все сразу, — повторил он уже обычным голосом. — Дайте мне ответить полковнику Ван-Гилберту, а потом выходите, кто хочет. Но только по одному, помните! Это вам не массовые игры. Мы с вами не на футбольной площадке.

— Что касается вас, — обратился он к полковнику, — должен заметить, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы отпустили по моему адресу несколько пристрастных и раздраженных замечаний и этим ограничились. Может, на суде такие вещи и помогают, но со мной это не выйдет. Я не рабочий, с непокрытой головой просящий прибавки или защиты от машины, которая его убивает. Разговаривая со мной, будьте добры придерживаться истины. А эти повадки приберегите для своих наемных рабов. Они не посмеют вам возражать — ведь их хлеб, вся их жизнь в ваших руках.

Что до возвращения к природе, о котором, по вашим словам, вы слышали в колледже, когда меня еще и на свете не было, могу вам сказать одно: с тех пор вы больше ничему и не научились. Между социализмом и возвращением в естественное состояние столько же общего, сколько между дифференциальным исчислением и библией. Я уже говорил вам, что вне деловых отношений ваш класс отличается феноменальной глупостью. Вы, сэр, блестяще подтвердили мою мысль!

Слабые нервы мисс Брентвуд не выдержали зрелища публичного посрамления, которому подвергся ее стотысячедолларовый юрист. То плача, то смеясь, она билась в истерике, пока соседи, подхватив с двух сторон, не вывели ее из зала. И, надо сказать, вовремя, потому что дальше пошло еще хуже.

— И это не голословное обвинение, — продолжал Эрнест, как только мисс Брентвуд благополучно скрылась за дверью. — Ваши же собственные авторитеты не замедлят упрекнуть вас в глупости. Ваши высокооплачиваемые поставщики науки скажут вам, что вы не правы. Обратитесь к самому смирному и забитому доцентику при кафедре социологии и спросите его, какая разница между учением Руссо о возврате к природе и учением социализма; обратитесь к своим знаменитейшим правоверно-буржуазным политико-экономам и социологам; перелистайте любую книжку на эту тему в субсидируемой вами библиотеке — повсюду вас ждет один ответ: учение о возврате к природе ничего общего не имеет с социализмом. Наоборот, все ваши источники вам скажут, что учения эти исключают друг друга. Повторяю, я не хочу быть голословным. Но любая книжка из тех, что вы покупаете, чтобы поставить на полку не читая, скажет вам, что вы невежественны и глупы. И в этом вы достойный сын своего класса.

Вы сведущий законник и бизнесмен, полковник Ван-Гилберт. Ваше дело — угождать корпорациям и пригонять закон к интересам и требованиям ваших работодателей. Это занятие вам как раз по плечу. Держитесь же за него. Ведь вы, можно сказать, фигура! Но, будучи хорошим юристом, вы тем не менее никуда не годный историк и такой же социолог, а ваша биология — ровесница Плинию.

Полковник Ван-Гилберт беспокойно ерзал на стуле. В зале царила полная тишина. Каждый сидел, затаив дыхание, каждый слушал как завороженный. Казалось странным, немыслимым, диким, что кто-то обошелся так с полковником Ван-Гилбертом, чье появление в зале суда ввергало судей в трепет. Но Эрнест не щадил врагов.

— Все это нисколько не порочит вас, полковник, — продолжал он. — У каждого свое ремесло — у вас свое, у меня свое. Вы мастер своего дела. Когда вопрос коснется того, чтобы обойти старый закон или придумать новый в угоду нашим вороватым корпорациям, тут я мизинца вашего не стою. Но если речь идет о социологии, то уж это по моей части, полковник, и тут вам приличествует скромность. Запомните же это. И не забывайте, что ваши познания ненадежны, ибо законы живут недолго. То, что не укладывается в сегодняшний день, не входит в вашу компетенцию. А потому все ваши решительные утверждения и скороспелые выводы по части истории и социологии — пустая трата времени и слов.

Остановившись на минуту, чтобы перевести дыхание, Эрнест задержался взглядом на своем противнике. Шея у полковника налилась кровью, лицо злобно подергивалось, белые тонкие пальцы сжимались и разжимались; он нетерпеливо вертелся на стуле, словно готовый вот-вот вскочить.

— Но вы, очевидно, еще не истратили весь свой порох. Что ж, милости просим, для него найдется применение. Я предъявил вашему классу обвинение и жду, что вы его опровергнете. Я указал вам на тяготы, от которых страдает современный человек, я упомянул о трех миллионах детей-рабов, которые гарантируют американским капиталистам их высокие прибыли, и о пятнадцати миллионах голодных, раздетых и по существу бесприютных бедняков. И поскольку производительность труда современного человека при новых производственных отношениях и новой технике в тысячу раз выше, чем производительность пещерного человека, я сделал вывод, что капитализм обанкротился. В этом и заключается мое обвинение, и я обратился к вам с убедительнейшей просьбой опровергнуть его. Больше того. Я позволил себе предсказать, что вы оставите мой вопрос без ответа. Вот вам прекрасный случай дать выход вашей избыточной энергии! Вы назвали мое выступление софистикой. Докажите это, полковник Ван-Гилберт! Дайте ответ на обвинение, которое я и полтора миллиона моих товарищей сегодня бросаем вам и вашему классу.

Полковник Ван-Гилберт, очевидно, забыл о своих председательских функциях, которые давно обязывали его дать слово другим желающим. Он вскочил и, яростно жестикулируя (куда делось его самообладание, его прекраснодушная риторика!), стал изливать свой гнев то на Эрнеста, называя его молокососом и демагогом, то на рабочий класс, который будто бы сам ни на что не способен, и от него нечего ждать.

— Для юриста вы, право же, недостаточно сильны в логике, — отвечал Эрнест на эту тираду. — Ведь речь у нас шла не о моей молодости и не о способностях рабочего класса. Я обвинил капитализм в том, что он обанкротился. Вы не ответили мне. Вы даже не пытались ответить. Почему же? Потому, что у вас нет ответа. Здесь на этом собрании, вы, можно сказать, первое лицо. Все присутствующие, кроме меня, конечно, с нетерпением ждут, что вы ответите за них, поскольку сами они не в силах ничего ответить. Я-то знаю, что вы не только не ответите мне, но и не сделаете ни малейшей попытки в этом направлении…

— Довольно! — загремел полковник Ван-Гилберт. — Кто дал вам право оскорблять меня? Это возмутительно!

— Возмутительно то, что вы уклоняетесь от ответа, — серьезно возразил Эрнест. — Я ничем не оскорбил вас. Если люди расходятся во мнениях — это вовсе не основание, чтобы кричать о своих оскорбленных чувствах. Призовите же себя к порядку и дайте разумный ответ на мое разумное обвинение в том, что капитализм обанкротился.

Полковник Ван-Гилберт молчал с видом уничтожающего презрения, ясно говорившим, что он намерен впредь игнорировать выпады этого грубияна.

— Ничего, не огорчайтесь, — сказал ему Эрнест. — Черпайте утешение в том, что ни один представитель вашего класса еще не дал ответа на этот вопрос. А теперь ваша очередь, — обратился он к ораторам, давно уже рвавшимся в бой. — Валяйте! Но прежде всего я прошу вас ответить на вопрос, перед которым спасовал полковник Ван-Гилберт.

Немыслимо хотя бы вкратце пересказать здесь все, что говорилось на дискуссии. Трудно себе представить, чего только не могут нагородить разгоряченные спорщики за какие-нибудь три часа! Я веселилась от души. Чем больше входили в азарт оппоненты, тем спокойнее и увереннее разжигал их Эрнест. Пользуясь своими обширными познаниями, он — где смелым словом, где удачно ввернутой фразой — расправлялся со своими противниками, поражая их легчайшими, но убийственными уколами, словно прокалывая резиновую шину. Он ловил их на логических ошибках: то это было порочное умозаключение, то вывод, не вытекающий из предпосылки, то ложная предпосылка, скрывающая в себе искомый вывод. Здесь он находил ошибку, там — произвольное допущение или же безграмотное утверждение, противоречащее всякой очевидности.

Бой не утихал ни на миг. Иногда Эрнест заменял рапиру дубинкой и бил ею наотмашь, разя врагов направо и налево. И от каждого он требовал фактов, отказываясь входить в обсуждение всяких домыслов и теорий. Факты стали для них новым Ватерлоо. Когда они нападали на рабочий класс, он говорил: «Зачем кивать на других? От этого ваши руки не станут чище». И каждому задавал вопрос: «А как же обвинение в том, что капитализм обанкротился? Вы не ответили на него. Или у вас нет ответа?»

Только к концу дискуссии слово взял мистер Уиксон.

Он единственный из собравшихся сохранял хладнокровие и единственный заслужил уважение Эрнеста.

— Никакого ответа и не нужно, — медленно и веско произнес мистер Уиксон. — Я следил за всей этой перепалкой и не знаю, удивляться или негодовать. Я отказываюсь понять вас, джентльмены, мои коллеги и соратники. Вы ведете себя как глупые школьники. Вы унизились до таких доводов, как соображения морали, и до такой ажитации, какая свойственна только вульгарным политикам. Вы позволили противнику обойти вас и одержать верх. Вы говорили много, но не сказали ничего. Вы, словно комары, жужжали вокруг медведя. Джентльмены, вот он перед вами, ваш медведь (он указал на Эрнеста), он цел и невредим, вы только позабавили его своим комариным писком.

А между тем, поверьте, положение весьма серьезно. Медведь сегодня занес лапу, угрожая нам. Он говорил, что в Соединенных Штатах насчитывается полтора миллиона революционеров. И это правда. Он говорил, что они намерены отнять у нас нашу власть, наши дворцы и раззолоченную роскошь. И это тоже правда. Перемена, великая перемена назревает в обществе. Но, по счастью, не та перемена, которой ждет медведь. Медведь грозит, что нас раздавит. На самом деле как бы мы его не раздавили!

Опять по залу пронеслось глухое рычание, люди переглядывались и кивали друг другу со спокойной уверенностью. Лица их выражали энергию и решимость. Чувствовалось, что это враг, твердый, непоколебимый.

— Медведя не испугаешь комариным писком, — холодно и бесстрастно продолжал мистер Уиксон. — Мы его затравим. И отвечать медведю будем не словами, а свинцом. Власть принадлежит нам, этого никто не отрицает. Силою этой власти мы и удержим власть.

Он внезапно повернулся к Эрнесту. Весь зал затаил дыхание.

— Итак, вот наш ответ. Нам не о чем с вами разговаривать. Но как только вы протянете руки, ваши хваленые руки силачей, к нашим дворцам и нашей роскоши, — мы вам покажем, где сила. В грохоте снарядов, в визге картечи и стрекоте пулеметов вы услышите наш ответ[49]. Вас же, революционеров, мы раздавим своею пятой, мы втопчем вас в землю.

Мир принадлежит нам, мы его хозяева, и никому другому им не владеть! С тех пор как существует история, ваше рабочее воинство всегда копошилось в грязи (как видите, мы тоже кое-что смыслим в истории) и будет и дальше копошиться в грязи, пока мне и тем, кто со мной, и тем, кто придет после нас, будет принадлежать вся полнота власти. Власть! — вот слово, равного которому нет в мире. Не бог, не богатство — власть! Вдумайтесь в это слово, проникнитесь им, чтобы оно дрожью отдалось во всем вашем существе. Власть!

— Что ж, я удовлетворен, — спокойно ответил Эрнест. — Это и есть тот единственный ответ, какой вы могли нам дать. Власть — как раз то, чего добивается рабочий класс. Наученные горьким опытом, мы знаем, что никакие призывы к справедливости, человечности, законности на вас не действуют. Сердца ваши равнодушны, как пята, которой вы топчете бедняков. Поэтому мы и добиваемся захвата власти. И мы завоюем ее на выборах, мы заставим вас отдать нам власть…

— Если бы вам и удалось одержать победу, и даже решающую победу, — прервал его Уиксон, — уж не думаете ли вы, что мы добровольно откажемся от власти, после того как она достанется вам на выборах?

— И к этому мы готовы, — возразил Эрнест. — И мы вам ответим не словами, а свинцом. Власть — идол, которому вы поклоняетесь! Пусть будет так. Если в день, когда мы добьемся победы на выборах, вы откажетесь передать нам власть, завоеванную мирным конституционным путем, мы, повторяю, сумеем вам ответить. В грохоте снарядов, в визге картечи, в стрекоте пулеметов вы услышите наш ответ.

Вам не уйти от нашего суда! Это верно, что вы кое-что смыслите в истории. Это верно, что рабочий люд с незапамятных времен копошится в грязи, — как верно, что он так и будет копошиться в грязи, пока вы и те, кто с вами, и те, кто будет после вас, стоите у власти. Тут я с вами согласен, как согласен и в другом: решать между нами будет сила, как и всегда она решала. Это — война классов. Но как ваш класс низверг старую феодальную знать, так и мы, рабочий класс, низвергнем ваше господство. Если бы наряду с уроками истории вы не гнушались уроками биологии и социологии, для вас была бы очевидна неизбежность предстоящей вам гибели. Через год, через десять, ну пусть через тысячу лет ваш класс будет низвергнут. Мы добьемся этого силой, силой проложим себе дорогу к власти. Мы, рабочее воинство, хорошо затвердили это слово, и оно звенит во всем нашем существе. Власть! Это великое слово.

Так кончился вечер у филоматов.

Глава шестая. Тени будущего

Тем временем над головой у нас сгущались грозовые тучи. Эрнест не раз выражал опасение, как бы моему отцу не пришлось пострадать из-за того, что он принимает у себя рабочих лидеров и социалистов и сам бывает на их собраниях. Но отец только смеялся над его тревогами. Я же, как губка, впитывала то, что давали мне встречи с руководителями рабочего класса и его теоретиками. Впервые видела я перед собой людей другого общественного лагеря.

И меня увлекало их бескорыстие, их пламенная вера, хотя, признаться, немало страшила обширная философская и научная литература, которая теперь открылась передо мной. В общем я делала быстрые успехи, — хотя и недостаточно быстрые для того, чтобы оценить всю опасность нашего положения.

А между тем тревожных признаков было много, только я не обращала на них внимания. Миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт — мнение этих дам было законом в наших университетских кругах — отзывались обо мне как о развязной и самоуверенной молодой особе с вредным направлением ума: я будто бы вечно что-то из себя корчу и вмешиваюсь в то, что меня не касается. Памятуя о своем расследовании дела Джексона, я нисколько не удивлялась этому и не задумывалась над тем, какое впечатление произведет на наше общество приговор столь высоких судей.

Правда, от меня не скрылось, что старые друзья стали ко мне заметно холоднее, но я приписывала эту перемену недовольству, с которым было встречено известие о моей помолвке с Эрнестом. Впоследствии он объяснил мне, что за этой видимостью словно бы естественного классового недовольства скрывалось нечто более серьезное. «Ты осмелилась приютить у себя классового врага, — говорил он. — Мало того, ты отдала ему свою любовь. Это будет сочтено предательством, изменой. Берегись, тебе не избежать кары».

Но еще до этого разговора отец как-то вечером вернулся домой, охваченный возмущением — философическим возмущением! Папа редко сердился, но некоторую долю возмущения разрешал себе, считая его прекрасным тоническим средством. И вот, как только он появился перед нами в тот вечер, мы с Эрнестом почувствовали, что он возмущен, приятно возмущен.

— Ну, что вы скажете, — обратился он к нам. — Я нынче завтракал с самим Уилкоксом.

Престарелый ректор университета Уилкокс считался у нас музейной древностью, так как сохранил в полной неприкосновенности идеи и взгляды семидесятых годов.

— Я получил приглашение. За мной было послано! — продолжал папа.

Он выдержал паузу, мы с интересом ждали дальнейшего.

— Все было мило, чинно — не придерешься. Но меня отчитали, как мальчишку. Меня! И кто же? Это ископаемое!

— Нетрудно догадаться, за что, — сказал Эрнест.

— Ручаюсь, что и с трех раз не угадаете, — смеялся папа.

— Угадаю с первого же. Тут и смекалки особой не требуется, а только самое обыкновенное умозаключение. Вам поставили на вид вашу частную жизнь.

— Верно! — воскликнул отец. — Как вы догадались?

— Этого надо было ожидать. Я не раз говорил вам.

— Говорили, правда, — подтвердил папа. — Но мне что-то не верилось. Зато какой материал для моей книги!

— Погодите, то ли еще будет, — продолжал Эрнест, — если вы не раззнакомитесь со всякими радикалами и социалистами, включая и меня…

— То же самое говорил мне и старикашка Уилкокс. Нес бог знает что! Эти-де знакомства обличают дурной вкус, они ничего не дают ни уму, ни сердцу, а главное, никак не вяжутся с нашими университетскими традициями и правилами, и все в том же туманном роде, — мне так и не удалось из него вытянуть, что за этим кроется. Я, признаться, не пожалел старика, — бедняга уж и так и этак вилял, расписывал, как и он и весь мир чтят мои научные заслуги. Он, видимо, был и сам не рад, что впутался в это дело, и сидел как на угольях.

— Уилкокс действовал не по своей воле, — сказал Эрнест. — Не всякому дано с грацией носить кандалы[50].

— В этом-то он и сам сознался. В университете предвидятся расходы, значительно превышающие сумму, отпущенную правительством штата. Придется обратиться за помощью к городским тузам, и, значит, нельзя их раздражать: университет должен остаться верен высоким идеалам аполитичного преподавания аполитичной науки. Когда же я прямо спросил, какое отношение ко всему этому имеет моя частная жизнь, Уилкокс предложил мне двухгодичную командировку в Европу — для отдыха и научных изысканий! — с полным сохранением оклада. Разумеется, я ее не принял.

— А не мешало бы, — серьезно заметил Эрнест.

— Так ведь это же взятка! — запротестовал отец. Эрнест только молча кивнул в ответ. — Негодяй плел что-то насчет пересудов, предметом которых служит моя дочь — ее повсюду видят с вами, а ведь известно, что вы за человек; будто это несовместимо с университетскими представлениями о достоинстве и приличии. Он клялся, что это не его личное мнение — боже упаси! Но идут всякие разговоры, — сами, мол, понимаете…

Эрнест с минуту размышлял, а потом сказал с мрачным спокойствием, за которым таился сдержанный гнев:

— За этим кроется что-то посерьезнее университетских идеалов. Кто-то, видно, нажал на Уилкокса.

— Вы думаете? — спросил отец; по его лицу было видно, что он скорее заинтригован, чем испуган.

— К сожалению, мне трудно с достаточной ясностью рассказать вам об одной догадке, которая с недавних пор беспокоит меня, — сказал Эрнест. — Никогда в истории человеческое общество не находилось в таком неустойчивом состоянии, как сейчас. Бурные перемены в экономике вызывают такие же бурные перемены в религиозной и политической жизни и в структуре общества. Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот. Эти процессы скорее угадываешь, воспринимаешь каким-то шестым чувством. Но это носится в воздухе — здесь, сегодня, у нас. Что-то надвигается — огромное, неясное, грозное. Ум мой в страхе отступает перед предположениями, во что это может вылиться. Вы слышали, что тогда говорил Уиксон? За его словами стояла та же безымянная, смутная угроза. Он тоже скорее догадывается, чем знает что-либо определенное.

— Вы ждете?.. — спросил отец и остановился.

— Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт. Назовем это угрозой олигархии — дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе ее характер и природу[51]. Мне хотелось сказать только следующее: вам угрожает опасность, которой я тем больше страшусь, что у меня нет

возможности судить о ее размерах. Послушайтесь моего совета и поезжайте в отпуск.

— Но это значило бы струсить!

— Никоим образом. Вы человек уже немолодой. Вы свое дело сделали, и это немало. Предоставьте же борьбу тем, кто молод и силен. Это наша жизненная задача. Эвис будет со мной. Смотрите на нее как на своего представителя в наших рядах.

— Ничего они мне не сделают, — возразил отец. — Я, слава создателю, от них не завишу. Мне хорошо известно, какие гонения они могут обрушить на профессора, всецело зависящего от университетской службы. Но мне это не страшно. Я преподаю не ради жалованья. С меня достаточно моих доходов, пусть лишают меня профессорского оклада.

— Вы меня не понимаете, — возразил Эрнест. — Если свершится то, чего я страшусь, вас лишат не только профессорского места. С такой же легкостью у вас могут отнять все ваши доходы да и все, чем вы владеете.

Некоторое время прошло в молчании. Отец напряженно думал; наконец глаза его загорелись решимостью, он сказал:

— Никуда я не поеду. — И после небольшой паузы: — Я предпочитаю писать мою книгу[52]. Вы, возможно, еще ошибаетесь, но, если даже вы и правы, у меня свои принципы. И я от них не отступлю.

— Как хотите, — сказал Эрнест. — Боюсь, вы идете по той же дорожке, что епископ Морхауз, и так же, как он, плохо кончите. Первым делом у вас отнимут все до нитки, будете оба тогда пролетариями.

Разговор перешел на епископа, мы попросили Эрнеста рассказать нам, что претерпел наш друг по его милости.

— Епископ совсем потерял душевный покой после своего нисхождения в ад под моим руководством. Я повел его к нескольким рабочим, познакомил с калеками, выброшенными на улицу промышленностью, он потолковал с ними, послушал их рассказы. Я показал ему трущобы Сан-Франциско, и он понял, что пьянство, проституция и преступления — это порождения куда более страшного зла, чем природная порочность человека. Он болен, но, что хуже всего, совершенно выбит из колеи. У него гипертрофия совести, он жестоко потрясен, к тому же, как всегда, далек от жизни. Сейчас он носится со всякими моральными иллюзиями и рвется к миссионерской деятельности среди культурных слоев общества. Он считает себя призванным воскресить первоначальный дух христианской церкви и думает обратиться с проповедью к правящим классам. Бедняга взвинчен до крайности. Не сегодня-завтра наступит кризис — и тогда жди беды! Трудно сказать, что он может выкинуть. Это чистая, восторженная душа, но он совершенно не знает жизни! Я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается удержать его на земле, он рвется к своему Гефсиманскому саду. Как бы не кончилось распятием — ведь таков удел возвышенных душ.

— И твой удел? — спросил я.

Я улыбалась, но в моем вопросе таилась вся глубина, вся жгучая тревога любви.

— Ну нет, — рассмеялся Эрнест. — Меня могут казнить или убить из-за угла, но только не распять. Я слишком крепко стою на земле.

— Зачем же было доводить до этого? Ведь ты не станешь отрицать, что сам втянул епископа в беду.

— Зачем оставлять счастливца в его блаженном неведении, когда миллионы обречены на труд и горе?

— Но папе ты советуешь уйти в отпуск?

— Так я ведь не чистая, восторженная душа, как твой епископ. Я практик и расчетливый эгоист. А кроме того, я люблю тебя и, подобно библейской Руфи, считаю твоих родных моими. У епископа же, как известно, нет дочки. Кроме того, сколь ни бессильны его вопли, свое маленькое дело они сделают, а революция не отказывается ни от какой помощи, даже самой незначительной.

Я не могла согласиться с Эрнестом. Я слишком хорошо знала благородную душу епископа Морхауза и не хотела верить, что его голос, поднятый за правду, окажется бессильным воплем. Изнанка жизни не была мне так знакома, как Эрнесту. Он ясно видел обреченность этого прекраснодушного мечтателя, и дальнейшие события убедили в том же и меня.

Вскоре Эрнест рассказал мне то, что он назвал забавным анекдотом: ему была предложена правительственная должность уполномоченного Штатов по вопросам труда. Я обрадовалась. Это место сулило моему будущему мужу хороший оклад и обещало нам обеспеченное существование. Кроме того, я считала, что такая работа будет Эрнесту по душе, не говоря уже о том, что моя ревнивая гордость видела в этом лестном предложении признание его блестящих способностей.

Но тут я заметила ироническую искорку в его глазах. Эрнест явно надо мной смеялся.

— Уж не думаешь ли ты отказаться? — спросила я дрогнувшим голосом.

— А разве ты не понимаешь, что это взятка? Я вижу за этим руку Уиксона, а за Уиксоном стоит кто-то и поважнее. Это старый прием! Старый, как классовая борьба: у пролетариата стараются похитить его руководителей. Бедный рабочий класс! Если б ты знала, скольких вождей он лишился таким образом. Ведь гораздо дешевле купить генерала, чем сражаться с ним и с его армией. Вот, например… нет, не буду называть имена. Зачем бередить старые раны! Дорогая, я один из полководцев армии пролетариата. Я не могу продаться его врагам. Но если бы даже ничто другое меня не удерживало, я не сделал бы этого уже ради памяти отца, ради его тяжелой, загубленной жизни.

В глазах моего сильного, мужественного героя блистали слезы. Он всегда с горечью вспоминал, как надругалась жизнь над его отцом: необходимость прокормить много голодных ртов заставляла его изворачиваться, лгать, пускаться на мелкое воровство.

— Отец у меня был хороший человек, — рассказывал мне Эрнест, — но страшная, уродливая жизнь исковеркала его и пришибла. Хозяева, эти архискоты, заездили его, как рабочую клячу. Он и сейчас мог бы жить, ведь он ровесник твоему отцу. Он был богатырского сложения, но и его сгубила фабрика, и он погиб ради хозяйских барышей. Подумай только! Это значит, что кровь его понадобилась кому-то на веселый ужин с вином, или на дорогую побрякушку, или какую-нибудь другую пошлую забаву этих гнусных паразитов, этих архискотов.

Глава седьмая. Видение епископа

«С нашим епископом просто сладу не стало, — писал мне Эрнест. — Он витает в облаках. Нынче вечером он начинает свой поход за восстановление справедливости в нашем злополучном мире. Он принесет людям благую весть. Все это епископ доложил мне сам, но я не в силах его удержать. Он председательствует на съезде ИПГ[53] и собирается вместо вступительного слова обратиться к съезду с воззванием.

Не хочешь ли послушать его вместе со мной? Беднягу ожидает жестокий провал. Представляю, каким это будет ударом для тебя и для него, но тебе это послужит превосходным уроком. Ты ведь знаешь, голубка, как я горжусь твоей любовью. Я хочу, чтобы ты ценила все, что есть во мне хорошего, а потому не удивляйся моему желанию рассеять у тебя малейшее облачко сомнения. Гордость моя требует, чтобы ты поняла, как правильны и разумны мои взгляды. Тебе известна их суровость. Но бессилие прекраснодушного епископа, быть может, покажет тебе всю неизбежность такой суровости. А потому едем со мной сегодня вечером. Мы переживем горькие минуты, но я чувствую, что они нас еще больше сблизят».

Съезд ИПГ происходил на сей раз в Сан-Франциско[54]. На повестке дня стоял вопрос об упадке морали в современном обществе и мерах борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Морхауз. Видно было, что он волнуется, — я на расстоянии чувствовала, как напряжены у него нервы. Рядом с ним в президиуме сидели: епископ Диккинсон; профессор Г. Г. Джонс, возглавлявший кафедру этических учений на философском факультете Калифорнийского университета; миссис У. У. Херд, видная деятельница в области общественного призрения; Филипп Уорд, известный филантроп, и еще несколько менее видных деятелей из той же сферы морального воспитания и благотворительности. Епископ Морхауз встал и начал без предисловий:

— Как-то я проезжал по городу в своей карете. Дело было вечером, я рассеянно наблюдал в окно привычные картины городской жизни, как вдруг глаза мои отверзлись — и действительность предстала предо мной во всей своей наготе. Сначала я закрыл лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов, и тогда во тьме предо мной встал вопрос: что же делать? Что делать? Потом возник другой вопрос: что сделал бы Учитель на моем месте? И великий свет пролился вокруг, и долг мой открылся мне словно в ярком сиянии солнца, как открылся он Савлу на пути его в Дамаск.

Я приказал остановить лошадей, вышел на тротуар и, обратившись к двум уличным женщинам, убедил их занять место в карете рядом со мной. Если то, чему учил нас Иисус, — истина, эти несчастные были мне сестрами, и только моя преданная любовь могла очистить их.

Я живу в одном из лучших кварталов Сан-Франциско. Мой дом оценен в сто тысяч долларов, а обстановка, книги и картины стоят и того больше. Это огромный особняк, вернее, дворец; целый штат слуг заботится о нем. До сих пор я не знал, в чем истинное назначение такого дворца, и думал, что мне и подобает жить в нем. Теперь я знаю. Я взял к себе этих женщин и приютил их. Я намерен все комнаты в своем дворце заселить такими же женщинами, моими сестрами.

Весь зал насторожился, у сидевших в президиуме лица выражали ужас и смятение. Епископ Диккинсон встал и демонстративно покинул собрание. Но епископ Морхауз, поглощенный своим видением, продолжал словно в каком-то забытьи:

— О сестры и братья, в этом вижу я единственный выход. Я не знал, зачем нужны кареты, а теперь знаю: для того, чтобы перевозить больных, немощных и престарелых; для того, чтобы

оказывать почет тем, в ком угасло даже естественное чувство стыда.

Я не знал, зачем нужны дворцы, а теперь нашел, что с ними делать. Дворцы, принадлежащие церкви, должны быть превращены в больницы и убежища для тех, кто без сил свалился на краю дороги и погибает.

Епископ умолк, по-видимому, не справляясь со своими мыслями и силясь подыскать для них простые, выразительные слова.

— Не мне, дорогие братья, учить вас праведной жизни, — снова начал он. — Я слишком долго коснел во лжи и лицемерии, чтобы советовать другим. Но принятое мною решение касательно тех женщин, сестер моих, показывает, что всякий из нас может вступить на праведный путь. Для тех, кто верит в Иисуса и его святое Евангелие, не может быть иного чувства к ближнему, кроме чувства любви. Только любовь сильнее греха, сильнее смерти. А потому я взываю к тем из вас, кто богат: делайте то же, что делаю я. Возьмите к себе в дом вора и обращайтесь с ним, как с братом; приютите у себя блудницу и назовите ее сестрой, и тогда в Сан-Франциско минует надобность в суде и полиции. Тюрьмы будут обращены в больницы, и вместе с преступлением исчезнет и преступник.

Но не только деньги — надо отдать ближним и самого себя. Будем же во всем следовать примеру Христа — вот в чем заключается ныне послание церкви. Мы отступились от заветов Учителя. Мы убиваем душу, потворствуя плоти. На место Христа мы поставили маммону. Я захватил с собой стихотворение, где все это прекрасно сказано. Разрешите прочитать его. Оно написано великим грешником, который, однако, много видел и понимал[55]. И не думайте, что он упрекает здесь только католическую церковь. Нет, он бичует все церкви, клеймит роскошь и хвастливое великолепие всех церквей, что сбились с истинного пути, указанного нам Учителем, и отгородились от овец его. Слушайте же:

Орган гремел. Все пали ниц, и жег

Сердца людей благоговейный страх, —

То плыл по храму на людских плечах

Первосвященник Рима, словно бог.

Как жрец — в одеждах пены волн белей,

Как властелин — в сиянье трех корон

И в пурпуре, — свой путь направил он

К святилищу — надменный царь царей.

И вихрь сквозь тьму веков меня унес

К тому, кто у пустынних вод бродил,

Не находя пристанища для сна…

«Птенцу — гнездо, нора лисе дана, —

Лишь я, лишь я один бреду без сил

И пью вино, соленое от слез» [56].

Слушатели волновались, но не потому, что речь епископа встретила в них сочувственный отклик. Однако епископ не замечал этого. Он продолжал:

— И я говорю тем из вас, кто богат, а также и всем прочим богатым людям в мире: тяжко притесняете вы тех, кого Учитель назвал своими овцами. Вы ожесточили сердца свои. Вы зажали уши, дабы не слышать, как вопиет и стонет вся страна. То вопли горя, то стоны страдания. И если вы не захотите их услышать — придет день, и они будут услышаны. И еще говорю вам…

Но тут Г. Г. Джонс и Филипп Уорд, давно уже стоявшие наготове, подхватили епископа под руки и свели его с помоста, провожаемые потрясенным молчанием зала.

Выйдя вместе со мной на улицу, Эрнест злобно захохотал. Смех этот резанул меня по сердцу. Я с трудом сдерживала слезы.

— Вот он и принес людям благую весть! — воскликнул Эрнест. — Он открыл им свое мужественное и нежное сердце, а его верные почитатели-христиане решили, что он сошел с ума. Ты заметила, как заботливо они свели его с помоста? Воображаю, как веселился при этом зрелище весь ад!

— И все же слова епископа и его поступки оставят свой след в сознании людей, — сказала я.

— Ты думаешь? — иронически отозвался Эрнест.

— Увидишь, какую это произведет сенсацию. Ты заметил? Пока он говорил, репортеры строчили напропалую.

— А завтра ни строчки об этом не появится в газетах.

— Не может быть! — горячо воскликнула я.

— Вот увидишь! Ни строчки, ни единого намека на то, что он говорил. Разве ты не знаешь нашу печать? Ее дело — изымать и запрещать.

— А репортеры? Ведь я сама их видела.

— Ни одно слово епископа не появится в печати. Ты забыла о редакторах. Они знают, за что им платят деньги. Их задача в том и состоит, чтобы не пропустить в печать ни одной строчки, представляющей угрозу существующему порядку. Сегодняшнее выступление епископа было лобовым ударом по установленной морали, призывом еретика. Его и увели с трибуны, чтобы прекратить соблазн. Но газеты очистят скверну, они вытравят ее молчанием. Разве ты не знаешь, что такое пресса в Соединенных Штатах? Это паразитический нарост на теле капитализма. Ее дело — обработка общественного мнения для поддержания существующего порядка, чем она и занимается с похвальным усердием.

Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий. Завтра в газетах будет сказано вскользь, что вследствие переутомления здоровье епископа пошатнулось и на вчерашнем собрании ему стало дурно. Пройдет несколько дней, и будет объявлено, что нервное истощение заставило епископа временно покинуть свою паству и уйти в длительный отпуск. А затем возможны два варианта: либо епископ поймет свою ошибку и вернется из отпуска здоровым человеком, не знающим, что такое видения среди бела дня; либо он утвердится в своем безумии, и тогда в

газетах промелькнет участливое сообщение о его помешательстве, после чего ему останется только лепетать о своих видениях звуконепроницаемым стенам сумасшедшего дома.

— Ну, ты уж слишком, — запротестовала я.

— Но ведь в глазах общества он и будет сумасшедшим. Какой порядочный и нормальный человек возьмет к себе в дом воров и падших женщин и станет обращаться с ними, как со своими близкими? Правда, Христос был распят между двумя разбойниками, но ведь это же совсем не из той оперы. Да и что такое безумие? Мысли, с которыми мы не можем согласиться, всегда кажутся нам неверными, — и мы говорим, что у человека ум за разум зашел. А там недолго сказать, что он просто сошел с ума! Все мы склонны считать сумасшедшим того, кто не согласен с общепризнанными истинами.

Вот тебе прекрасный пример в сегодняшней вечерней газете. Мери Мак-Кенна проживает южнее Маркет-стрит. Это бедная, но честная женщина, к тому же патриотка. По своей наивности она поверила, что американский флаг — прибежище американских граждан. И вот что с ней случилось. Муж ее пострадал от несчастного случая и три месяца пролежал в больнице. Мери стала брать на дом стирку, что, однако, не помешало ей задолжать хозяину за квартиру. Вчера ее пришли выселять. Тогда она выставила у порога американский флаг, завернулась в его полотнище и заявила, что пусть ее посмеют выбросить на улицу: она под защитой американского флага! Ну, и знаешь, что с ней сделали? Арестовали и отправили на медицинское обследование. Сегодня ее подвергли экспертизе, признали душевнобольной и засадили в сумасшедший дом.

— Ну, уж это извини, — заспорила я. — Предположим, у меня свое мнение о том, как написана такая-то книга, и это мнение не совпадает с общепринятым. Не посадят же меня в сумасшедший дом!

— Нет, не посадят, — согласился Эрнест. — Но такое расхождение с общепринятым мнением не угрожает общественному порядку. В этом вся разница. Еретические же заявления Мери Мак-Кенна и епископа угрожают. А что, если все бедняки станут под защиту американского флага и откажутся платить за квартиру? Ведь это покушение на права домовладельцев. Взгляды епископа тоже опасны для общества. А потому пусть он посидит в сумасшедшем доме.

Я все еще не верила.

— Ладно, увидишь, — сказал Эрнест. Тем наш спор и кончился.

На другое утро я послала купить все выходящие в городе газеты. Эрнест оказался прав. Нигде ни одной строчки по существу речи епископа. Две-три газеты глухо упоминали, что епископ Морхауз произнес взволнованную речь, а между тем плоские разглагольствования последующих ораторов комментировались весьма пространно.

Несколько дней спустя появилась краткая заметка о том, что в связи с сильным переутомлением епископ уходит в отпуск. Однако ни слова о нервном расстройстве, не говоря уже о душевном заболевании. Мне тогда и в голову не приходило, как близок наш друг к своему Гефсиманскому саду и Голгофе, о которых говорил Эрнест.

Глава восьмая. Разрушители машин

Незадолго до выборов в конгресс, на которых Эрнест выступал кандидатом по социалистическому списку, отец устроил обед, который у нас в домашнем кругу именовался

«обедом лабазников». Эрнест называл его обедом «разрушителей машин». На этот раз были приглашены бизнесмены — не из самых преуспевающих, конечно. Думается, среди наших гостей не нашлось бы ни одного владельца или совладельца предприятия стоимостью свыше двухсот тысяч долларов. Это были подлинные представители средних классов — разумеется, их деловой части.

Среди гостей присутствовал Оуэн, представитель фирмы «Силверберг, Оуэн и К°», большой бакалейной торговли с несколькими филиалами. Мы были их постоянными покупателями. Присутствовали оба компаньона фирмы «Коуолт и Уошборн» и мистер Асмунсен, владелец каменоломни в округе Контра-Коста, а также много других владельцев и совладельцев небольших фабрик и предприятий. Словом, собрались капиталисты средней руки.

Это были дельцы с неглупыми, характерными физиономиями, с ясной и простой речью. Все они в один голос жаловались на корпорации и тресты. Их общим девизом было: «Долой тресты!» Все они вопили, что им житья нет от трестов и что в их бедах виноваты тресты. Наши гости были сторонниками передачи государству таких предприятий, как телеграф и железные дороги, и стояли за самое жестокое прогрессивное обложение доходов, направленное против крупного капитала. Спасение от местных трудностей и неустройств они видели в передаче городу коммунальных предприятий, таких, как вода, газ, телефон и трамвай.

Особенно заинтересовала нас иеремиада мистера Асмунсена, поведавшего о своих мытарствах в качестве владельца каменоломни. Он уверял, что каменоломня не дает ему никакой прибыли, несмотря на благоприятные условия, созданные недавним землетрясением. За те шесть лет, что Сан-Франциско отстраивается, предприятие его расширилось в восемь раз, а между тем он сейчас не богаче прежнего.

— Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам, — жаловался он. — От нее ничего не укроется: ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всем докладывает — ума не приложу. Не иначе, как кто-то из моих же служащих для них шпионит; а кроме того, у них теснейшая связь с моими контрагентами. Посудите сами: едва только мне удается получить большой заказ на выгодных условиях, как железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз; они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль. Характерно, что мне не удается добиться от них ни малейшей скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи — или больших расходов, или если контракт невыгодный — они идут мне навстречу. Но, так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман железнодорожная компания.

— То, что вам остается, — прервал его Эрнест, — это примерно жалованье, которое компания платила бы, если бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы ее управляющим. Не правда ли?

— Вот именно. Недавно мы просмотрели все книги за последние десять лет. И представляете? Я убедился, что вся моя прибыль за это время равна примерно жалованью управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды.

— С той лишь разницей, — подхватил Эрнест смеясь, — что в этом случае весь риск несла бы компания, тогда как сейчас вы любезно берете его на себя.

— Совершенно верно, — сокрушенно вздохнул мистер Асмунсен.

После того как гости высказались, Эрнест начал задавать им вопросы. Он обратился к мистеру Оуэну:

— Вы, кажется, полгода назад открыли новый филиал в Беркли?

— Как же, как же, — ответил мистер Оуэн.

— И с тех пор, как я заметил, три маленьких лавочки здесь по соседству вынуждены были закрыться одна за другой.

Мистер Оуэн самодовольно улыбнулся.

— Им трудно тягаться с нами.

— Почему же?

— Мы располагаем большим капиталом и, значит, работаем гораздо производительнее при меньших издержках.

— Стало быть, ваш филиал поглотил прибыли, которые раньше принадлежали трем коммерсантам? Понятно... А куда девались эти люди?

— Один из них служит у нас возчиком. Что сталось с другими — не знаю.

Эрнест повернулся к мистеру Коуолту.

— Вы часто устраиваете у себя в аптеке дешевые распродажи[57]. Скажите, не знаете ли вы что-либо об участи мелких аптекарей, которым оказалось не под силу конкурировать с вами?

— Один из них, мистер Хазфуртер, заведует у нас рецептурным отделом.

— Стало быть, все их прибыли отошли к вам?

— А как же! Для того и стараемся.

— Ну вот вы, — неожиданно повернулся Эрнест к мистеру Асмунсену, — вы возмущены тем, что все ваши прибыли поглощает железная дорога...

Асмунсен кивнул.

— В то время как вы предпочитали бы наживаться сами?..

Асмунсен снова кивнул.

— За счет других?..

Асмунсен промолчал.

— Я говорю: за счет других? — настаивал Эрнест.

— Иначе и не бывает, — сухо ответил мистер Асмунсен.

— Стало быть, правила игры в том, чтобы наживаться за счет других и не давать другим наживаться за ваш счет? Ведь так?

Эрнесту пришлось повторить свой вопрос, прежде чем мистер Асмунсен на него ответил.

— Так-то оно так, — сказал он, — но мы не мешаем и другим наживаться, мы только против

грабительских прибылей.

— Грабительские прибыли — это большие прибыли. Но ведь вы, верно, и сами не отказались бы от больших прибылей?

Мистер Асмунсен добродушно подтвердил, что не отказался бы. Тут Эрнест обратился к мистеру Кэлвину, в прошлом владельцу большой молочной фермы.

— Вы, как я слышал, не так давно воевали с молочным трестом, а теперь ударились в политику и вошли в фермерскую партию[58]. Как это понять?

— Не думайте, что я сложил оружие, — воинственно воскликнул мистер Кэлвин. — Напротив, я борюсь с трестом в той единственной области, какая еще остается, — политической. Разрешите, я поясню свою мысль. Еще недавно у нас, в молочном деле, не было засилья трестов.

— А конкуренция была? — прервал его Эрнест.

— Да, и конкуренция снижала прибыли. Пробовали мы сорганизоваться, но неорганизованные фермеры срывали все попытки. А потом на сцену явился молочный трест.

— Финансируемый свободными капиталами «Стандард Ойл» [59].

— Да, но мы еще не знали этого. Агенты треста прямо-таки хватали нас за горло: «Идите к нам, с нами не пропадете, — говорили они, — а не то наплачетесь». Ну, большинство и пошло; а кто не пошел, тому и в самом деле худо пришлось. Поначалу нам даже выгодно показалось… Трест поднял цену на цент за кварту: четверть цента получали мы, три четверти — трест. Потом, смотрим, молоко вздорожало еще на цент, но нам на этот раз ничего не уделили. Мы, конечно, стали требовать свою долю, да никто и ухом не повел. Ведь хозяин-то — трест! Тут только мы хватились, что влипли, что трест может из нас веревки вить. Скоро перестали нам давать и эту четверть цента. Дальше — больше! А что мы могли поделать? В конце концов выжали нас досуха, и теперь самостоятельных молочных совсем не стало, есть только молочный трест.

— Но когда молоко подорожало на два цента, почему вы не вступили в борьбу с трестом? — коварно спросил Эрнест.

— Пробовали. — Мистер Кэлвин выдержал паузу. — Это-то нас и прикончило. Трест мог продавать молоко дешевле, чем мы. Когда мы торговали в убыток, он все еще получал небольшую прибыль. Я на этом потерял пятьдесят тысяч. Многие обанкротились[60]. В общем, от самостоятельных молочных предприятий осталось одно воспоминание.

— Значит, трест отнял у вас ваши прибыли, и вы обратились к политике, надеясь покончить с ним в законодательном порядке и вернуть свои доходы?

Мистер Кэлвин просиял:

— Вот это самое я и объясняю нашим фермерам. Вся наша программа тут как в капле воды.

— Но тресту молоко обходится дешевле, чем организованному фермеру? — продолжал допрашивать Эрнест.

— Еще бы! При таком-то капитале да при новейшем оборудовании нетрудно поставить дело как следует.

— Бесспорно. Я и говорю, что оно поставлено как следует.

Тут мистер Кэлвин разразился пространной речью в защиту своей программы. Все горячо его поддержали, все единодушно требовали уничтожения трестов.

Эрнест сказал мне вполголоса:

— Вот простаки! Кажется, и неглупые люди, а ни один дальше своего носа не видит.

Потом Эрнест опять овладел разговором и, как всегда, руководил им весь остаток вечера.

— Я внимательно слушал вас, — сказал он, — и убедился, что вы желаете играть в игру, именуемую бизнесом, по старинке. Смысл жизни вы видите только в наживе. Каждый из вас уверен, что родился на свет с единственной целью — наживаться. И вдруг — заминка! В самом разгаре погони за наживой появляется трест и похищает у вас ваши прибыли. Для вас это катастрофа, нарушающая гармонию мироздания, и, по-вашему, существует один только выход — уничтожить то, что мешает вам наживаться.

Повторяю, я внимательно вас слушал и нахожу, что есть название, которое очень вам подходит. Вы — разрушители машин. Знаете, что это такое?

Позвольте, я расскажу вам. В Англии, в восемнадцатом веке, когда не были еще изобретены машины, рабочие и работницы ткали сукно у себя дома на ручных станках. Это был кропотливый и трудоемкий способ производства, к тому же и дорогой. Но вот появилась паровая машина, а с нею механические станки. Сотни таких станков, собранные в одном месте, при одной машине, производили сукно и быстрее и дешевле, чем это могли делать вольные ткачи на своих ручных станках. Концентрация производства убивала всякую конкуренцию. Мужчины и женщины, раньше работавшие на дому, каждый для себя, теперь стали работать на фабрике, на хозяина-капиталиста. В дальнейшем к ткацким станкам были приставлены дети — им можно было платить дешевле, чем взрослым, и постепенно детский труд начал вытеснять труд взрослых ткачей. Для рабочих настали тяжелые времена. Им жилось все хуже и хуже, они голодали. А так как причину зла они видели в машинах, то и начали уничтожать машины. Это ни к чему не привело, да и вообще было неразумно.

Этот урок истории ничему вас не научил. Спустя сто пятьдесят лет после английских разрушителей машин появляетесь вы и тоже хотите ломать машины. Сами же вы признаете, что трестовская машина работает и дешевле и производительнее вашего; конкурировать с ней вам не под силу, — вот вы и жаждете ее уничтожить. Вы ничуть не умнее отсталых английских рабочих. А пока вы тщитесь вернуть век конкуренции, тресты преспокойно расправляются с вами.

Все вы говорили здесь, в сущности, одно и то же: уходит век конкуренции, и на смену ему идет век концентрации производства. Вы, мистер Оуэн, убили конкуренцию в Беркли, открыв у нас один из своих филиалов, — ваша фирма оказалась сильнее торговавших здесь мелких лавочников. Но есть объединения и посильнее вашего — это тресты. Стоит вам почувствовать их давление, как вы кричите: «Караул, грабят!» Однако это только потому, что сами вы не трест. Будь вы единственный бакалейщик-монополист на все Соединенные Штаты, вы бы не так рассуждали, вы кричали бы: «Да здравствуют тресты!» Но ваш небольшой синдикат не только не может сравняться с трестом, он и сам-то по себе еле дышит. Вы чувствуете, что долго не протянете. Вы понимаете, что вы и ваши филиалы только пешки в большой игре. Вы видите, как вырастают вокруг могущественные силы, как они крепнут день ото дня — и неуязвимые, закованные в броню руки тянутся к вашим прибылям, вырывая клок то тут, то

там. Железнодорожный трест, угольный, нефтяной, стальной. Вы знаете, что вам несдобровать, что они отнимут у вас ваши прибыли — все, до последнего цента.

Как видите, сэр, вы незадачливый игрок. Когда вам удалось раздавить своих мелких конкурентов здесь, в Беркли, в силу преимуществ вашего синдиката, — успех вскружил вам голову. Вы только и говорили что о предприимчивости и деловитости и, поживившись за счет своих конкурентов, отправили жену прокатиться в Европу. Так уж водится, что хищник пожирает хищника, — вот и вы слопали своих предшественников. Но, на вашу беду, есть хищники и покрупнее, — и вам предстоит попасть им на завтрак. Потому-то вы и вопите. А с вами вопят все сидящие здесь. Они в таком же положении. У всех у вас на руках плохая карта, вот вы и жалуетесь.

Но, жалуясь, вы отказываетесь смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. Вы не говорите, что сами заритесь на чужие прибыли и только не хотите, чтобы кто-то зарился на ваши. Нет, для этого вы слишком хитры. Вы говорите другое. Вы произносите политические речи в защиту мелких капиталистов, вроде той, какую мы сегодня выслушали от мистера Кэлвина. Но что он здесь говорил? Кое-что я могу повторить по памяти: «Наши исконные принципы были правильны», «Единственно, что Америке нужно, — это возвращение к ее основному принципу: равные возможности для всех», «У колыбели этой нации стоял дух свободы», «Вернемся к заветам наших предков...»

Под равными возможностями для всех мистер Кэлвин подразумевает возможность загребать побольше прибылей, в чем он сейчас встречает помеху со стороны трестов. Но вы столько раз повторяли эти громкие слова, что, как ни странно, сами в них уверовали. Все, что вам нужно, — это грабить ближнего в меру своих сил — полегоньку да потихоньку, и вы на этом основании вообразили себя борцами за свободу. Вы самые обыкновенные плуты и стяжатели, но под магическим действием красивых фраз готовы возомнить себя патриотами. Свою жажду прибылей, проистекающую из чистейшего эгоизма, вы выдаете за бескорыстную заботу о страдающем человечестве. Так давайте же хоть здесь, среди своих, — дерзните быть самим собой. Не бойтесь смотреть правде в лицо и называйте вещи своими именами.

Я видела кругом неприязненные, побагровевшие лица и затаенный страх. Казалось, наши гости трепетали перед этим юнцом, перед спокойствием и силой его речей и его ужасающей, непозволительной манерой называть черное черным. Мистер Кэлвин, однако, не растерялся.

— А почему бы и нет? — заявил он. — Почему бы нам не вернуться к обычаям и нравам наших предков, основателей нашей республики? Вы сказали нам немало правды, мистер Эвергард, — пусть жестокой и горькой правды. Но, поскольку мы здесь и в самом деле в своей среде, не будем этим смущаться. Давайте сбросим маски и примем те обвинения, которые мистер Эвергард так прямолинейно нам предъявляет. Верно, что мы, мелкие капиталисты, гонимся за прибылями и что тресты отнимают их у нас. Верно, что мы хотим избавиться от трестов, чтобы сохранить наши прибыли. Но почему бы нам и не добиваться этого? Почему? Я вас спрашиваю.

— Вот тут-то мы и дошли до главного, — сказал Эрнест с довольной улыбкой. — Я объясню вам, почему, хоть это и не так-то легко. Все вы в какой-то мере учились коммерции, но никому из вас не приходилось изучать законы социального развития. А между тем вы находитесь сейчас в переходной стадии экономического развития; сами вы этого не видите и не понимаете, — отсюда и все недоразумения. Почему вам нельзя возвратиться назад? Да потому, что это невозможно. Вы так же бессильны повернуть вспять поток экономического развития, как заставить ручей течь в гору. Иисус Навин приказал солнцу остановиться над Гаваоном, а вы намерены перещеголять Иисуса Навина! Вы хотите заставить солнце катиться по небу вспять. Вы хотите вернуть время от полудня к утру.

Презрев усовершенствованные машины, презрев возросшую производительность труда и все преимущества концентрации, вы хотите вернуть экономику назад на целое поколение — к тому времени, когда не было еще крупного капитала и развитой техники, не было железных дорог, когда мелкие капиталисты пожирали друг друга в обстановке экономической анархии, когда производство было примитивным, расточительным, неорганизованным, непомерно дорогим. Поверьте, Иисусу Навину было легче остановить солнце, не говоря уж о том, что ему помогал сам Бог Саваоф. Но от вас, мелких капиталистов, Бог отвернулся. Ваше солнце клонится к закату. Больше ему не взойти в небе. И вам не изменить предначертанного ему пути. Вы уходите с исторической арены, и вскоре в истории затеряется и след ваш.

Таков закон эволюции. Так повелел Господь Бог. Концентрация сильнее, чем конкуренция. Первобытный человек был жалким существом, прятавшимся в расщелинах скал. Но он объединился с себе подобными и пошел войной на своих плотоядных врагов. Эти хищники охотились в одиночку, так сказать, на началах конкуренции. Первобытный же человек был хищник, тяготевший к объединению, потому-то он и поднялся над прочими тварями. С тех пор люди вступали во все более обширные объединения. Концентрация против конкуренции — таков смысл общественной борьбы, которая заполняет многие тысячелетия. И всегда конкуренция терпит поражение. Тот, кто становится под знамя конкуренции, неизменно гибнет.

— Но ведь и тресты — порождение конкуренции, — прервал Эрнеста мистер Кэлвин.

— Совершенно верно, — отвечал Эрнест. — Но тресты и уничтожают конкуренцию. Вы, например, сами рассказали нам, как вам пришлось распроститься с вашим молочным хозяйством.

Впервые за столом раздался смех, и мистер Кэлвин невольно к нему присоединился.

— Но раз мы снова заговорили о трестах, давайте условимся кое о чем, — продолжал Эрнест. — Я выскажу здесь несколько положений, и всех, кто с ними не согласен, прошу мне возражать. Ваше молчание будет для меня знаком согласия. Разве механический станок не дает больше сукна и по более дешевой цене, нежели ручной? — Эрнест подождал ответа и, не дождавшись, продолжал: — Разве, следовательно, не безумие сломать машины и возвратиться к более трудоемким и дорогим методам кустарной работы? — Несколько человек кивнуло в знак согласия. — Разве не верно, что объединение, именуемое трестом, может производить товары и лучше и дешевле, чем тысячи маленьких, конкурирующих между собой предприятий? — Возражений снова не было. — Разве, следовательно, не безумие отказываться от этой более дешевой и рациональной формы производственной организации?

Все долго молчали. Наконец заговорил мистер Коуолт.

— Так что же вы нам-то прикажете делать? — спросил он. — В уничтожении трестов мы видим единственный способ избавиться от их владычества.

Эрнест так и загорелся.

— Я покажу вам другой способ! — воскликнул он. — Предлагаю не разрушать эти великолепные машины, работающие и хорошо и дешево. Давайте возьмем их себе. Пусть они радуют нас своей производительностью и дешевизной. Будем сами управлять ими. Спустим с лестницы хозяев этих чудесных машин и сами станем их хозяевами. Это, господа, и есть социализм, еще более обширное объединение, чем тресты, — самое обширное экономическое и социальное объединение из всех, какие знает наша планета. Социализм — в ладу с законами

экономического развития. Мы противопоставим трестовским объединениям более мощную организацию. А это значит, что будущее за нами. Переходите к нам, социалистам, ставьте на верную карту!

Этот призыв не встретил поддержки. Послышался недовольный ропот, многие покачивали головой.

— Ладно! — рассмеялся Эрнест. — Вам, видно, нравится быть ходячим анахронизмом. Вы предпочитаете играть в обществе роль атавистического придатка. Что ж, с Богом, но только помните, что, как и всякий атавизм, вы обречены на гибель. Спрашивали вы себя, что будет с вами, когда появятся объединения покрупнее нынешних трестов? Где вы окажетесь, когда наши огромные тресты начнут сливаться в такие организации, какие нынешним и не снились, — пока над вами не воздвигнется единый социальный, экономический и политический трест?

Эрнест неожиданно повернулся к мистеру Кэлвину.

— Скажите, прав я или нет? Разве вам и вашим единомышленникам не приходится сколачивать новую политическую партию, потому что старые в руках у трестов? И разве ваша пропаганда не встречает с их стороны упорного сопротивления? За каждым провалом, за каждым препятствием на вашем пути, за каждым ударом, нанесенным вам из-за угла, разве не чувствуете вы руку трестов? Скажите, верно это или нет?

Мистер Кэлвин сидел, понурив голову.

— Говорите, не стесняйтесь, — не отставал Эрнест.

— Что верно, то верно, — согласился мистер Кэлвин. — Нам удалось добиться большинства в законодательном собрании штата Орегон; но когда мы провели ряд прекрасных законопроектов, охраняющих права мелких промышленников, губернатор, ставленник трестов, наложил на них вето. Когда же мы в Колорадо избрали своего губернатора, палата не утвердила его. Дважды нам удавалось провести подоходный налог в федеральном масштабе, и всякий раз верховный суд отвергал его как не соответствующий конституции. Все суды в руках у трестов. Мы, народ, не можем платить судьям высокие оклады. Но придет время, когда…

— …когда объединение трестов будет контролировать все наше законодательство. Когда оно, это объединение, и будет нашим правительством, — прервал его Эрнест.

— Никогда этого не будет! — послышались со всех сторон воинственные крики. Всеми овладело возмущение.

— Скажите, — настаивал Эрнест. — Что вы предпримете, когда такие времена наступят?

— Мы подымемся все, как один! Мы двинем в бой все свои силы! — воскликнул мистер Асмунсен, и множество голосов поддержало его.

— Но это означает гражданскую войну, — предостерег Эрнест.

— Мы не остановимся и перед гражданской войной! — провозгласил мистер Асмунсен под дружное одобрение всех присутствующих. — Мы не забыли славных дел наших предков. Если нужно будет, мы постоим и умрем за наши свободы.

Эрнест усмехнулся.

— Не забудьте, господа, мы согласились на том, что свобода в вашем понимании — это свобода беспрепятственно грабить конкурента.

Атмосфера за обеденным столом накалилась. Всеми овладел воинственный пыл. Но голос Эрнеста перекрыл поднявшийся шум.

— Еще один вопрос. Не забывайте, что когда вы двинете в бой все свои силы, — вы двинете их против трестов, захвативших в свои руки правительство Соединенных Штатов. А это означает, что тресты двинут против вас регулярную армию, флот, национальную гвардию, полицию — словом, всю военную машину США. Какое значение будут тогда иметь ваши силы?

Слушатели растерялись. Не давая им опомниться, Эрнест нанес им следующий удар:

— Как вам известно, еще недавно наша армия исчислялась в пятьдесят тысяч человек. Год за годом ее увеличивали, и в настоящее время она насчитывает триста тысяч.

И дальше — следующий удар:

— Но это еще не все. В то время как вы очертя голову гнались за призраком наживы и сокрушались о своем излюбленном детище — конкуренции, произошли события еще более знаменательные. Национальная гвардия…

— Национальная гвардия и есть наша сила! — воскликнул мистер Коуолт. — С ней мы отразим натиск регулярных войск.

— Вы сами будете призваны в национальную гвардию, — возразил ему Эрнест, — и вас пошлют в штат Мэн, во Флориду или на Филиппины, а то и еще бог весть куда, чтобы потопить в крови восстание, которое подняли ваши же товарищи, борющиеся за свои гражданские права. А ваши товарищи из Канзаса, Висконсина или любого другого штата, вступив в национальную гвардию, будут посланы сюда, в Калифорнию, чтобы потопить в крови ваше восстание здесь.

На сей раз слушатели Эрнеста были действительно подавлены. Все молчали. Наконец мистер Оуэн пробормотал:

— Так мы не вступим в национальную гвардию — только и всего. Ищите дураков в другом месте!

Эрнест расхохотался.

— Вы не в курсе происшедших перемен. Вас не спросят. Вы пойдете служить в принудительном порядке.

— Существуют гражданские права, — не унимался мистер Оуэн.

— Они существуют до тех пор, пока правительство не сочтет нужным их отменить. В тот день, когда вы вознамеритесь обрушить на правительство свои силы, эти силы обратятся против вас. В национальную гвардию вам придется вступить — хотите вы того или не хотите. Кто-то из вас сослался сейчас на «хабеас корпус» [61]. Берегитесь, как бы вам вместо этого не прописали «со святыми упокой». Если вы откажетесь вступить в войска национальной гвардии или, по зачислении туда, вздумаете бунтовать, вас предадут военно-полевому суду и пристрелят, как собак. Таков закон.

— Такого закона нет! — решительно заявил мистер Кэлвин. — Такого закона нет и в помине.

Все это одно ваше воображение, молодой человек. Вы здесь говорили, что войска национальной гвардии можно угнать чуть ли не на Филиппины. Но это противоречит конституции. Особый пункт конституции говорит о том, что территориальные войска не могут быть посланы за пределы страны.

— Бросьте ссылаться на конституцию, — возразил Эрнест. — Толкованием конституции, как известно, занимаются суды, а наши судьи, по справедливому замечанию мистера Асмунсена, холопы трестов. К тому же, как я сказал, такой закон существует. К вашему сведению, господа, он существует уже девять лет.

— О том, что нас могут призвать в национальную гвардию, — недоверчиво спросил мистер Кэлвин, — и что, в случае отказа, будут судить военно-полевым судом?..

— Да, именно так.

— Как же мы ничего не слышали? — удивился и мой отец. Он тоже с недоумением глядел на Эрнеста.

— Вы не слыхали о нем по двум причинам, — отвечал Эрнест. — Во-первых, до сих пор еще ни разу не представилась необходимость применить его на деле. Если бы такая необходимость явилась, вы не замедлили бы о нем услышать. Во-вторых, закон этот был проведен через конгресс и сенат втихомолку, почти без обсуждения. Газеты, разумеется, не обмолвились о нем ни словом. Мы, социалисты, знали об этом и писали, но вы не читаете наших газет.

— А я все-таки полагаю, что это — одно только ваше воображение, — упрямо настаивал мистер Кэлвин. — Страна никогда не позволила бы…

— Представьте, позволила, — возразил Эрнест. — А что касается моего воображения, — и он достал из кармана какую-то брошюру, — вот, судите сами, похоже ли это на игру воображения.

Он нашел нужное место и начал читать вслух:

— «С т а т ь я п е р в а я. Во всех штатах, территориях и в округе Колумбия вменяется в обязанность лицам мужского пола от восемнадцати до сорока пяти лет, признанным годными по состоянию здоровья, вступать в войска национальной гвардии.

С т а т ь я с е д ь м а я. Всякий военнообязанный…» — напоминаю вам, господа, по статье первой все вы военнообязанные, — «…не явившийся без уважительных причин к своему воинскому начальнику, предается военно-полевому суду и несет должное наказание.

С т а т ь я в о с ь м а я. Военно-полевые суды, коим подсудны и офицеры и нижние чины, комплектуются только из офицеров национальной гвардии.

С т а т ь я д е в я т а я. Солдаты и офицеры национальной гвардии, будучи призваны на действительную службу, подчиняются тому же воинскому уставу, а также законам и постановлениям, что и регулярные войска Соединенных Штатов».

С чем и поздравляю вас, господа американские граждане и дражайшие сослуживцы по национальной гвардии! Девять лет тому назад мы, социалисты, полагали, что этот закон направлен против рабочих. Оказывается, он имел в виду также и вас. Во время дозволенного свыше краткого обсуждения в конгрессе депутат Уайли сказал, что «новый закон создает необходимые резервы для расправы с чернью (под „чернью“ разумеетесь вы, господа) и в защиту от ее покушений на жизнь, свободу и собственность…». А потому, когда вы

вознамеритесь восстать, помните, что это будет равносильно покушению на собственность трестов и на охраняемую законом свободу трестов присваивать себе ваши прибыли. Так-то, господа! Вам выбили зубы, вам сломали хребет, — а следовательно, в день, когда вы вознамеритесь двинуть в бой свои силы, вы, армия беззубых, бесхребетных воинов, будете представлять не большую опасность, чем армия моллюсков.

— Не может быть! — повторял свое мистер Коуолт. — Нет такого закона! Это утка, пущенная вами, социалистами!

— Законопроект был внесен в палату тридцатого июля тысяча девятьсот второго года депутатом Диком из штата Огайо, — продолжал Эрнест. — Был принят палатой почти без обсуждения, в обстановке крайней спешки. Четырнадцатого января тысяча девятьсот третьего года он получил единодушную поддержку сената, а ровно неделю спустя его утвердил президент Соединенных Штатов[62].

Глава девятая. Математическая непреложность мечты

Пользуясь растерянностью, воцарившейся за столом после этого неожиданного сообщения, Эрнест продолжал:

— Многие из вас говорили, что социализм — несбыточная мечта. Вы кричите о невозможности, так позвольте мне показать вам неизбежное. Неизбежное же не только в том, что все ваше племя мелких капиталистов обречено на вымирание, — к такой же вымирающей породе относятся и крупные капиталисты вместе с трестами. Помните: поток развития нельзя повернуть вспять. Он течет все дальше и дальше — от конкуренции к концентрации, от малых объединений к большим, а от больших к еще большим и большим, устремляясь к социализму, объединению всемирного масштаба.

Вы скажете, что это мечта. Не спорю. Но я берусь доказать вам математическую непреложность этой мечты. Вас же я попрошу, чтобы вы, следя за ходом моих рассуждений, сразу же указывали мне, где я допустил ошибку. Сперва я докажу вам, что капиталистическая система обречена на гибель, докажу с математической непреложностью. И прошу вас не сердиться, если вам покажется, что я начал несколько издалека.

Прежде всего разберемте с вами конкретный пример из области промышленности, и как только вам что-нибудь покажется спорным, прошу меня остановить. Возьмем обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожи на сто долларов. Пройдя через фабричный процесс, кожа эта превращается в обувь стоимостью, скажем, в двести долларов. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось сто долларов. Как это произошло? Давайте рассудим.

Вновь произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере ста долларов. Пока нет возражений?

Все отрицательно покачали головой.

— Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят ее между собой. Отвлечемся от сложных соотношений, какие дает статистика, и возьмем для удобства круглые цифры. Положим, капитал берет себе пятьдесят долларов и столько же отдает рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при этом возникают[63]. Каковы бы они ни

были и к чему бы ни приводили, дележ — так или иначе, в том или другом процентном соотношении — производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны?

И снова все согласились с Эрнестом.

— Допустим теперь, что рабочие, получив свои пятьдесят долларов, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви, не правда ли?

Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всей американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее. Опять-таки для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на четыре миллиарда долларов. За этот период рабочие получат два миллиарда долларов заработной платы. Всего же произведено промышленных товаров на четыре миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих, в действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране.

Итак, повторяю. Рабочие могут приобрести и потребить товаров на два миллиарда. А это значит, что останется еще излишек товаров стоимостью в два миллиарда, которых рабочие не в состоянии купить и употребить.

— Рабочие не проживают даже и своих двух миллиардов, — отозвался мистер Коуолт. — Иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы.

— Вклады рабочих в сберегательные кассы — это не более как подвижной резервный фонд, который тут же и расходуется по мере накопления. Это деньги про черный день, на случай болезни или инвалидности, это сбережения на старость и похороны. Вклады в сберегательную кассу — все равно что краюха хлеба, отложенная на полку, чтоб было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на свои заработки.

На долю капитала тоже приходится два миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну, а там — израсходует ли он остальную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживет ли он целиком свои два миллиарда?

Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой. И только один откровенно признался:

— Не знаю.

— Ну как не знаете? — возразил Эрнест. — Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибылей, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли. Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? Постепенно Америка выкупила эти облигации. Что это означает? Да то, что часть свободных капиталов пошла на выкуп облигаций. А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских и греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибылей.

Но тут-то мы и подходим вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на четыре миллиарда. Рабочие потребляют товаров на два миллиарда. Капитал не покупает товаров на всю причитающуюся ему долю прибыли. Остается свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? Куда его девать? Рабочие не могут его раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил все, что способен потребить. И все же остается излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают?

— Вывозят за границу, — догадался мистер Коуолт.

— Вот именно, — подтвердил Эрнест. — Наличие товарных излишков приводит к поискам иностранных рынков. Их вывозят за границу, другого применения им нет. И эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений?

— Не стоило тратить время на преподавание нам этих азов коммерции, — съязвил мистер Коуолт. — Они каждому из нас известны.

— А между тем этими азами я и собираюсь вас доконать, — отпарировал Эрнест. — Чем проще доказательства, тем они убедительнее. И доконать я вас собираюсь нимало не медля. Итак, внимание!

Соединенные Штаты — капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При ее капиталистическом методе производства у нее постоянно остается избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо избавиться путем вывоза их за границу[64]. Но то, что верно относительно Соединенных Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить; капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем у этих стран имеются товарные излишки. Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров?

— Продать их странам с менее развитой промышленностью, — подсказал мистер Коуолт.

— Правильно! Видите, мои рассуждения так ясны и элементарны, что каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью, например, в Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишков производства. Итак, что же получат Соединенные Штаты от Бразилии за эти товарные излишки?

— Золото, — ответил мистер Коуолт.

— Ну, на золото не шибко расторгуешься, не так уж его много, — возразил Эрнест.

— Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг, — поправился мистер Коуолт.

— Совершенно верно, — сказал Эрнест. — Соединенные Штаты получат от Бразилии облигации и другие ценные бумаги. А что это означает? Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединенных Штатов. А что это означает, в свою очередь?

Мистер Коуолт подумал и покачал головой.

— Я скажу вам, — продолжал Эрнест. — Это означает, что и Бразилия начнет разрабатывать свои ресурсы, а стало быть, и у нее появится свободный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его Соединенным Штатам? Нет, Соединенные Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединенные Штаты, как раньше, сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение.

Что же тогда произойдет? И Соединенные Штаты и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются все теми же, то вскоре и эти страны начнут развивать свои ресурсы. И у них также появится избыточный продукт, и они также начнут искать рынков, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Наша планета не безгранична. Существует лишь определенное число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт?

Эрнест остановился и обвел взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать перед ними яркое видение кризиса, и все они сидели как завороженные, со страхом заглядывая в будущее.

— Я начал с азов, мистер Кэлвин, — лукаво продолжал Эрнест, — но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита, до самой последней. Как видите — все это очень просто. Но чем проще, тем убедительней, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так как же? Если каждая страна в мире будет иметь свой избыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой?

Но мистер Кэлвин только озабоченно покачал головой. Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, ища в них скрытую ошибку.

— Давайте проверим еще раз ход моих мыслей, — сказал Эрнест. — Мы начали с конкретного, частного случая, с обувной фабрики. Мы установили, что дележ вновь произведенной стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа ее во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему доли. Мы обнаружили к тому же, что, когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки — это вывезти их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов и что в скором времени у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается, что нам делать с этими излишками?

Снова никакого ответа.

— Мистер Кэлвин!

Мистер Кэлвин развел руками.

— Признаюсь, я смущен.

— Вот уж не думал, — сказал мистер Асмунсен. — И ведь все как будто верно, ничего не

скажешь.

Мне еще не приходилось слышать о Марксовой теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил ее так просто, что я была поражена не менее других.

— Я скажу вам, как можно избавиться от этих излишков, — заявил наконец Эрнест. — Выбросьте их в море! Выбрасывайте ежегодно на сотни миллионов долларов обуви, платья, пшеницы и всяких других товаров. Разве это не выход?

— Выход, конечно, — отвечал мистер Кэлвин. — Но только нелепый выход. Странные вы даете советы.

Эрнест вихрем налетел на него.

— Поверьте, не более странные, чем даете вы, разрушители машин, зовущие человечество к допотопным порядкам наших предков. А вы что предлагаете, чтоб избавиться от товарных излишков? Вы предпочли бы вовсе их не производить? Но как же вы надеетесь этого добиться? Не возвратом ли к примитивной системе производства, столь несовершенной, хаотичной, расточительной и дорогой, что ни о каких излишках уже не пришлось бы и мечтать?

Мистер Кэлвин пожевал губами. Удар Эрнеста попал в цель. Он снова пожевал губами, потом откашлялся.

— Ваша правда, — сказал он. — Вы убедили меня. Конечно, это в высшей степени нелепо. Но ведь что-то нам нужно делать. Для нас, представителей средних классов, это вопрос жизни и смерти. Мы не хотим своей гибели. Нет, уж чем погибнуть, лучше возвратиться к кустарным и расточительным методам наших предков. Мы вернем промышленность к дотрестовским временам! Мы сломаем машины! Кто может запретить нам?

— Нет, вы не сломаете машины, — возразил Эрнест. — Вы не повернете жизнь вспять. Вам противостоят две великие силы, и каждая из них превосходит мощью вас, средние классы. Крупный капитал — иначе говоря, тресты — не позволит вам повернуть историю назад. Уничтожение машин не в его интересах. Но еще более великая, могучая сила — рабочий класс. Он не допустит уничтожения машин. Между трестами и рабочим классом идет борьба за овладение миром, а следовательно, и машинами. Такова военная диспозиция. Ни одна из сторон не заинтересована в уничтожении машин, но каждая стремится владеть ими. В этой борьбе нет места среднему классу. Средний класс — это пигмей между двумя великанами. Разве не видите вы, злополучный, обреченный средний класс, что вы зажаты между двумя жерновами и рано или поздно вас раздавят!

Я доказал вам, как дважды два — четыре, что гибель капиталистической системы неизбежна. Настанет время, когда у каждой страны в мире окажется избыток товаров, который нельзя будет ни употребить, ни продать, и капиталистический строй рухнет, раздавленный системой головокружительных прибылей, которую он же и породил. Но и тогда никто не станет уничтожать машины. Борьба будет вестись за то, кому ими владеть. Если победит рабочий класс, вам нечего бояться. Соединенные Штаты, да и весь остальной мир вступят в новую великую эру. Машины, вместо того чтобы истреблять жизнь, сделают ее прекраснее, счастливее, благороднее. И вы, обломки уничтоженного среднего класса, вместе с трудящимися, — так как в мире не останется никого, кроме трудящихся, — будете участвовать в справедливом распределении благ, созданных чудесными машинами. Потому что мы будем изобретать все новые и новые машины, одна другой чудеснее. С уничтожением системы прибылей сам собой отпадет вопрос о товарных излишках.

— А если битву за овладение машинами и всем миром выиграете не вы, а тресты? — спросил мистер Коуолт.

— Тогда, — отвечал Эрнест, — и вы, и мы, и весь рабочий класс будем раздавлены железной пятой деспотизма, не ведающего удержу и жалости, — деспотизма, какого не знала доселе ни одна, даже самая темная эпоха в жизни человечества. Вот имя для него — Железная пята![65]

Наступило долгое молчание. Каждый погрузился в глубокие, непривычные думы.

— И все же ваш социализм — мечта, несбыточная мечта! — сказал мистер Коуолт.

— В таком случае я покажу вам то, что отнюдь не мечта, — отвечал Эрнест, — олигархию, или, употребляя более привычное вам слово, плутократию. В обоих случаях имеется в виду владычество крупного капитала или трестов. Разберемся, кому в наши дни принадлежит власть. А для этого рассмотрим, на какие классы делится наше общество.

Общество состоит из трех крупных классов. Это плутократия — богатейшие банкиры, железнодорожные магнаты, заправилы корпораций и трестов; далее идете вы, господа, средние классы — фермеры, коммерсанты, мелкие промышленники, люди свободных профессий; и, наконец, мой класс — пролетариат, представители наемного труда[66].

Вы не станете отрицать, что в наши дни в Соединенных Штатах власть является прерогативой богатства. Но как же распределяются национальные богатства между этими тремя классами? Вот цифры: владения плутократии оцениваются в шестьдесят семь миллиардов. Плутократия составляет всего лишь девять десятых процента взрослого населения США, а между тем семьдесят процентов национального достояния принадлежит ей. Средний класс владеет имуществом стоимостью в двадцать четыре миллиарда. Средний класс представляет двадцать девять процентов взрослого населения США, при этом он владеет двадцатью пятью процентами национального достояния. Остается пролетариат. Пролетариату принадлежит имущество стоимостью в четыре миллиарда. По численности он составляет семьдесят процентов взрослого населения США, а между тем на его долю падает только четыре процента общенационального достояния. Какому же классу принадлежит власть, господа?

— Уже ваши цифры говорят о том, что мы, средний класс, сильнее пролетариата, — сказал мистер Асмунсен.

— То, что вы называете нашей слабостью, не прибавит вам силы по сравнению с той силищей, какую представляет плутократия, — возразил Эрнест. — А кроме того, я не кончил: есть еще и другая сила, превышающая силу богатства, потому что ее нельзя отнять. Наша мощь, мощь пролетариата, — это его мускулы, это руки, опускающие в урну избирательный бюллетень, это пальцы, спускающие курок. Нашу мощь никто у нас не отнимет. Это первозданная сила, присущая всему живому. Она могущественнее богатства, потому что богатству ее у нас не отнять.

Ваша же сила мнимая. Вы можете в любую минуту ее лишиться. Уже сейчас плутократы понемногу теснят вас. Пройдет время — и ее как не бывало. И тогда вы перестанете быть средним классом. Вы опуститесь до нас, сделаетесь пролетариями. И — что самое забавное — умножите наше число, укрепите наши ряды. Мы будем с вами плечом к плечу бороться за светлое будущее.

С рабочих, как видите, ничего не возьмешь. Их доля в общенациональном достоянии состоит из кое-какой одежды и мебелишки да, в отдельных редких случаях, из очищенного от долга

домика. Вы же самые настоящие, заправские богачи, у вас двадцать четыре миллиарда, — есть чем поживиться! Плутократия и экспроприирует их, если только — что вполне возможно — ее не опередит пролетариат! Итак, господа, уразумели вы свое положение? Средний класс — это тщедушный ягненок между львом и тигром. Ушел от одного — как раз попадешь в пасть другому. И если с вами расправится плутократия, рано или поздно с плутократией расправится пролетариат.

Даже и сейчас ваша власть уже несоизмерима с вашим богатством. Могущество, на которое вы притязаете, — пустой мираж. Вот почему вы и провозгласили свой смехотворный клич: «Назад к предкам!» Вы страдаете бессилием и сами это знаете. Сейчас я покажу вам, что ваша пресловутая сила — мыльный пузырь.

Возьмите фермеров. Какая же это сила? Большая их часть рабы, рабы аренды или закладной. И все они вместе — рабы трестов, которым принадлежат или под чьим контролем находятся (что почти равнозначно) средства вывоза и сбыта урожая: холодильники, железные дороги, элеваторы, пароходы. Мало того, тресты контролируют и рынки сбыта. Во всем этом фермеры — пешки. Что же касается их политического или государственного веса, то этим вопросом мы займемся, говоря о среднем классе в целом.

Тресты систематически разоряют фермеров, так же как они разорили мистера Кэлвина и многих других. Они разоряют и торговцев. Помните, как табачный трест в течение полугода в одном только Нью-Йорке заставил закрыться четыреста табачных лавок? Где прежние владельцы угольных копей? Вы знаете не хуже моего, что железнодорожный трест захватил в свои руки всю добычу антрацита и битуминозного угля. А разве «Стандард Ойл» [67] не владеет десятками пароходных компаний? И разве он не контролирует всю медную промышленность, не говоря уже о такой мелочишке, как литейный трест, его побочное детище? Осветительная сеть десятков тысяч наших городов также принадлежит «Стандард Ойл» или контролируемым им компаниям, равно как и электротранспорт — городской, пригородный и междугородный. Бесчисленных дельцов, когда-то владевших этими предприятиями, нет уже и в помине. Вы это знаете. И вам выходит та же дорога.

Мелкие промышленники недалеко ушли от фермеров. И те и другие сведены на положение феодальных держателей. Да и так называемые представители свободных профессий свободны только по названию, — это холопы. А политики разве не послушные клевреты? Почему вы, мистер Кэлвин, столь ревностно стараетесь организовать фермеров и других представителей средних классов в новую партию? Да потому, что деятели старых партий и слышать не хотят о ваших допотопных идеях, — это лакеи, прислужники плутократии.

Я назвал представителей свободных профессий и искусства холопами. Как же их еще назвать? Все, все они — профессора, проповедники, журналисты — на службе у плутократии; служба же их в том, чтобы проповедовать идеи либо вовсе безвредные, либо угодные правящему классу. Стоит им выступить в защиту идей, неугодных властителям, как их лишают работы. Если они ничего не припасли себе про черный день, им одна дорога — вниз, к пролетариату; а там они либо гибнут, либо становятся рабочими агитаторами. Не забудьте, что печать, церковь и университет определяют общественное мнение страны, задают тон ее умственной жизни. Что же до людей искусства, то они приноравливаются к вульгарным вкусам плутократии.

Однако само по себе богатство еще не власть, это лишь средство к власти, — власть принадлежит правительству. Но кто же в наше время контролирует правительство? Двадцать миллионов американских рабочих? Видите, вам смешно при одной этой мысли. Или восемь миллионов представителей среднего класса? Нет, они так же тут ни при чем, как и пролетариат. Тогда кто же контролирует правительство? Плутократия численностью в каких-то

жалких четверть миллиона? Нет, и эта четверть миллиона не контролирует правительство, она только служит ему не за страх, а за совесть. Контролирует правительство мозг плутократии — семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп[68]. И не забудьте, что эти группы фактически действуют сейчас заодно.

Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. Сорок тысяч юристов защищают ее интересы в суде против интересов трудового народа. Она выпускает тысячи бесплатных проездных билетов для подкупа судей, банкиров, журналистов, министров, профессоров, членов конгресса и законодательных собраний. Она держит на хлебах — и весьма привольных хлебах — лоббистские шайки[69] в столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне. И во всех городах и поселках страны она содержит целую армию крючков и мелких политиканов, на чьей обязанности лежит укомплектование своими политическими единомышленниками предвыборных собраний и съездов; их дело также подбирать присяжных, подкупать судей и всеми возможными средствами наблюдать интересы компании[70].

Господа, я только бегло охарактеризовал здесь аппарат власти одной из семи правящих групп, представляющих мозг плутократии[71]. Ваши двадцать четыре миллиарда не дают вам и на двадцать пять центов политической власти. Ваша власть — пустая видимость, детская погремушка, которую скоро у вас отнимут. Вся политическая власть в наши дни в руках у плутократии. Это она издает законы: сенат, конгресс, суды и законодательные палаты штатов отданы ей на откуп. Но этим дело не ограничивается. Закон должен опираться на силу. И плутократия не только издает законы, она и обеспечивает их выполнение — к ее услугам полиция, армия, флот и, наконец, национальная гвардия; иначе говоря, и вы, и я, и все мы, вместе взятые.

После этого спор уже не возобновлялся, обед подходил к концу. Все присмирели и приуныли; прощались тихо, приглушенными голосами. Казалось, гости напуганы видениями грядущих лет.

— Положение действительно серьезное, — сказал Эрнесту мистер Кэлвин. — И вы в общем правильно его изобразили. Я расхожусь с вами в одном. Очень уж вы мрачно смотрите на судьбы среднего класса. Увидите, мы еще себя покажем, мы еще свалим тресты!

— И вернетесь к временам предков, — досказал за него Эрнест.

— А хоть бы и так, — серьезно возразил ему мистер Коуолт. — Я понимаю, вам это кажется чем-то вроде разрушения машин — словом, совершеннейшим абсурдом. Что поделаешь, такова сейчас жизнь; вспомните хотя бы все эти махинации плутократии, о которых вы здесь рассказывали. Во всяком случае, наша политика разрушения ставит себе трезвые, практические цели, чего нельзя сказать о вас, мечтателях. Ваши мечты о социализме не более как мечты. Нет, нам не по пути с вами!

— Если бы вы, господа, хоть мало-мальски разбирались в законах эволюции и социологии, — говорил Эрнест, пожимая ему руку на прощание, — от скольких бед это избавило бы всех нас!

Глава десятая. Водоворот

Вскоре после обеда дельцов ударами грома разразились события одно другого ужаснее. И я, скромная профессорская дочка, все свои годы прожившая в тиши университетского мирка, оказалась ввергнутой в мировую катастрофу. Трудно сказать, любовь ли к Эрнесту, или же

ясное понимание законов общественного развития, — понимание, которым я была обязана тому же Эрнесту, — сделали меня революционеркой, но, став ею, я была подхвачена вихрем событий, которые еще три месяца назад казались бы невозможными.

С грандиозными переменами в жизни общества совпал и перелом в моей личной жизни. Началось с того, что отца уволили из университета. Разумеется, не буквально уволили — ему было предложено уйти в отставку, только и всего. Само по себе это не имело для нас большого значения. Напротив, папа был в восторге. Его забавляло, что терпение университетских властей окончательно истощилось после выхода его книги «Экономика и образование». «Еще один аргумент в мою пользу», — говорил он, торжествуя. Да и трудно было найти более убедительное доказательство того, что класс капиталистов наложил лапу на всю нашу образовательную систему.

Но «доказательство» повисло в воздухе. Никто так и не узнал, что отец ушел из университета не по своей воле. Если бы это событие вместе с привходящими обстоятельствами получило огласку, это могло бы стать своего рода сенсацией, принимая во внимание известность, которую папа снискал себе как ученый. Но нет, газеты расшаркивались перед ним, поздравляя с тем, что он решил отказаться от черной лекторской работы и целиком посвятить себя научным изысканиям.

Вначале папа смеялся. Потом им овладел гнев — «живительный» гнев. А вскоре был наложен запрет на его книгу. Это было сделано потихоньку, мы ни о чем и не догадывались. Появление книги не прошло в стране незамеченным. В капиталистической прессе она была вежливо обругана: критики с убийственной учтивостью заявляли, что такому большому ученому не следовало бы жертвовать своей работой и забираться в дебри социологии, где он сразу же и заплутался. Так продолжалось с неделю; отец посмеивался и говорил, что книга, по-видимому, задела господ капиталистов за живое. И вдруг как отрезало — газеты и журналы перестали о ней писать. Из продажи она исчезла. В книжных лавках нельзя было найти ни одного экземпляра. Отец запросил издателей, и ему сообщили, что матрицы случайно повреждены. Наконец после длительной и бесплодной переписки отцу было сообщено, что книга вторично набираться не будет и что издательство отказывается от всяких прав на нее.

— Ни один издатель в Америке не захочет взять ее теперь, — предупредил папу Эрнест. — И вот что я скажу вам: на вашем месте я бы уже сейчас подыскал себе какое-нибудь укромное местечко и укрылся в нем до лучших времен. Хватит с вас этого первого знакомства с Железной пятой, не советую вам идти дальше.

Как истинный ученый, отец никогда ничего не принимал на веру; каждое лабораторное исследование он доводил до конца, добиваясь исчерпывающей полноты и ясности. Так и сейчас, запасшись терпением, он стал обращаться во все издательства подряд. Но всюду находились какие-то отговорки, и ни один издатель так и не взял книги.

Когда отец убедился, что книга его под запретом, он попробовал обратиться в прессу, но его жалобы нигде не встретили отклика. И вот однажды, на социалистическом митинге, где присутствовало много репортеров, он решил выступить с открытым заявлением. Взяв слово, он рассказал всю историю своих мытарств и на следующий день с интересом схватился за газеты, заранее радуясь тому, что там прочтет. Но постепенно лицо его принимало все более возмущенное выражение, — по правде сказать, гнев его на этот раз перешел уже в ту стадию, когда это чувство теряет свое тонирующее действие. Ни одна газета ни словом не упомянула о его книге; зато сам он был повсюду изображен каким-то извергом; слова его безбожно перевирались или же произвольно выхватывались из контекста; умеренные и сдержанные выражения были представлены анархистскими выкриками. Это было сделано не без искусства.

Мне запомнился следующий пример: отец употребил термин «социальная революция», репортер же просто-напросто выкинул слово «социальная». Неудивительно, что когда стараниями Ассошиэйтед Пресс сообщение о митинге пошло гулять по всей Америке, отовсюду посыпались ожесточенные протесты. Отца ославили нигилистом и анархистом, а в одной популярной карикатуре он был изображен с красным флагом, во главе целой орды косматых людей с дикими глазами, потрясающих ножами, бомбами и зажженными факелами.

Пространные и злобные газетные статьи изобличали отца в анархизме, попутно намекая, что он выжил из ума. По словам Эрнеста, капиталистическая печать так всегда и поступала. Газеты нарочно засылали репортеров на социалистические митинги, чтобы потом изобразить все в искаженном, карикатурном виде. Это делалось с целью внушить среднему классу ужас перед пролетариатом и помешать им между собой сговориться. Эрнест снова и снова убеждал отца отказаться от борьбы и заблаговременно скрыться от своих преследователей.

Социалистическая пресса, разумеется, не стала молчать: ее подписчикам, рабочим, вскоре стало известно, что такая-то книга запрещена. Но широкая публика этого не знала. Вскоре большое социалистическое издательство «Знамя разума» предложило отцу выпустить его труд. Папа торжествовал, а Эрнест еще больше встревожился.

— Говорю вам, мы на пороге неведомых событий, — настаивал он. — Что-то готовится вокруг нас в глубочайшей тайне. Мы не знаем, какие нас ждут перемены, и только предчувствуем их приход. Все общество потрясено до основания. Не спрашивайте меня ни о чем, я и сам ничего не знаю. Но наше общество сейчас — это насыщенный раствор, из которого что-то должно выкристаллизоваться. Процесс уже начался. Конфискация вашей книги — знамение времени. Сколько еще таких книг запрещено, мы понятия не имеем. Мы бродим в потемках. Никто нам ничего не расскажет. На очереди запрещение социалистических газет и издательств. Боюсь, это уже не за горами. Нас хотят задушить.

Эрнест необычайно чутко улавливал пульс своего времени и в этом отношении выделялся даже среди социалистов. Не прошло и двух дней после его разговора с папой, как был нанесен первый удар. Издательство «Знамя разума» выпускало еженедельник того же названия тиражом в семьдесят пять тысяч экземпляров, который полностью расходился среди рабочих. Отдельные, специальные, номера журнала выходили массовым тиражом от двух до пяти миллионов. Это издание субсидировалось и распространялось друзьями журнала, которые вокруг него группировались. Первый сокрушительный удар был нанесен массовой серии. Почтовое ведомство запретило принимать ее к пересылке под тем предлогом, что она не соответствует установленному типу журнала. Неделю спустя запрещен был и еженедельник — как якобы «призывающий к мятежу». Делу социалистической пропаганды был нанесен большой урон. Издательство оказалось в отчаянном положении. Попытка организовать доставку журнала подписчикам через посредство железнодорожных или транспортных контор ни к чему не привела, все они наотрез отказались. Дни издательства были сочтены, однако оно не сдавалось и решило продолжать издание книг. Двадцать тысяч экземпляров «Экономики и образования» находились в переплетном цеху, а остальные печатались, когда однажды ночью к типографии подошла толпа громил с американским флагом. Толпа ворвалась в здание с пением патриотических песен и сожгла его дотла.

А между тем Джирард в штате Канзас, где это произошло, тихий, мирный городок, в нем за всю его историю никогда не бывало рабочих беспорядков. «Знамя разума» платило положенные ставки. Типография была главным промышленным предприятием во всей округе, кормившим сотни семейств. Толпу громил составляли, по-видимому, не жители Джирарда. Казалось, они вышли из-под земли и, сделав свое гнусное дело, опять провалились сквозь землю. Эрнест считал это событие зловещим симптомом.

— В Соединенных Штатах, очевидно, организованы «черные сотни» [72], — говорил он. — Но это только начало. Самое худшее впереди. Железная пята наглеет с каждым днем.

Так книга отца и погибла в огне. В дальнейшем нам все чаще приходилось слышать о выступлениях черных сотен. Список запрещенных социалистических изданий все увеличивался, немало было случаев, когда банды громил добирались и до типографских станков и предавали их уничтожению. Капиталистическая печать, разумеется, преданно служила реакции. Послушная своим хозяевам, она чернила и поносила удушенную социалистическую прессу, а черносотенцев выставляла патриотами и спасителями общества. Кампания велась так успешно, что много честных священников, поддавшись пропаганде, благословляли с кафедры зверства черносотенцев, не переставая сокрушаться о прискорбной неизбежности насилия.

События назревали. Приближались осенние выборы в конгресс, на которых Эрнест должен был баллотироваться от социалистической партии. Его шансы были очень высоки. После срыва стачки трамвайных служащих в Сан-Франциско такая же неудача постигла стачку возчиков. Оба провала нанесли рабочему движению чувствительный удар. Забастовку возчиков поддерживала федерация портовых рабочих, а также союзы строителей, — все эти организации потерпели тяжелое поражение. Немало тут пролилось рабочей крови. Увесистые полицейские дубинки работали без отказа, но особенно жестоко косил забастовщиков пулемет, установленный на крыше склада Марсденовской компании срочных доставок.

Среди рабочих царило угрюмое, озлобленное настроение. Они жаждали мести, кровавой расплаты. Потерпев неудачу в экономических боях, они стремились свести счеты со своими противниками на политической арене. У них все еще были их профсоюзы, и это составляло их силу в приближающейся политической борьбе. Шансы Эрнеста на избрание подымались. С каждым днем все больше профсоюзов заявляло о поддержке социалистического кандидата, и Эрнест немало смеялся, когда в ряды его избирателей влились факельщики и массажисты. Рабочие закусили удила. Восторженными толпами валили они на социалистические митинги, не обращая внимания на заигрывания и посулы других партий. Ораторы буржуазных партий выступали перед пустыми скамьями или же встречали такой прием, что приходилось вызывать полицию.

События стремительно развивались, они надвигались грозой. Страна была на грани кризиса[73]. После ряда лет усиленного промышленного развития наступил период перепроизводства. Заводы работали неполный день, многие гигантские предприятия закрылись на время, пока страна не разгрузится от избытка товаров. Рабочим то и дело урезали заработную плату.

Следующей была сломлена забастовка механиков. Двести тысяч механиков вместе с полумиллионной армией рабочих-металлистов — своей союзницей — потерпели поражение к тяжелых классовых боях, быть может, самых кровопролитных в истории Соединенных Штатов. Рабочие вступали в форменные сражения с отрядами вооруженных штрейкбрехеров[74], которых выставила против них ассоциация нанимателей. Черные сотни, появляясь то тут, то там, учиняли погромы и поджоги, и для расправы с рабочими вызваны были регулярные войска. Часть руководителей забастовки была приговорена к смертной казни, остальных засадили в тюрьму; рядовых рабочих толпами загоняли на скотобойни[75] и беспощадно избивали.

Народу приходилось расплачиваться за годы процветания. Все рынки были забиты товарами, на бирже царила паника, на фоне общего катастрофического падения цен самым катастрофическим было падение цен на труд. В стране не утихала классовая борьба. Повсюду

вспыхивали забастовки, а там, где рабочие не бастовали, их пачками увольняли с заводов. Газеты были испещрены сообщениями о погромах и беспорядках, и ко всем этим злодеяниям приложили руку черные сотни[76]. Разбой, произвол и бесцельное уничтожение имущества были делом их рук. Все силы регулярной армии были двинуты против забастовщиков, и каждый раз появление военных отрядов провоцировалось черными сотнями. Города и поселки были превращены в вооруженные лагеря, на рабочих охотились, как на зверей. Ряды штрейкбрехеров пополнялись за счет армии безработных, а когда союзы пытались бороться со штрейкбрехерами, на выручку спешили войска и расправлялись с союзами. В подавлении беспорядков принимала участие и национальная гвардия. Закон, о котором говорил Эрнест, не был еще приведен в действие, и власти обходились регулярными войсками, но на этот период террора число их было увеличено на сто тысяч человек.

Никогда еще пролетариат не терпел такого поражения. Короли промышленности, олигархи, впервые боролись плечом к плечу с ассоциациями нанимателей — организациями среднего класса. Напуганные кризисом и катастрофическим падением цен, поддерживаемые промышленными королями, предприниматели нанесли организованному пролетариату жестокое поражение. Это был могущественный союз, но по существу — союз льва с ягненком; и средний класс скоро в этом убедился.

Рабочие затаили жажду мести, но пока что они были раздавлены. Однако разгромить рабочих еще не означало покончить с кризисом. Банки, представлявшие одну из важнейших сил олигархии, повсеместно требовали возвращения взятых ссуд. Биржа превратилась в чудовищный водоворот; здесь финансовые магнаты Уолл-стрита[77] ежечасно пускали ко дну национальные богатства Америки. И над этими развалинами и обломками вставало грозное видение нарождающейся олигархии, безучастной, невозмутимой, уверенной в себе. Ее равнодушие и цинизм среди всеобщего крушения и хаоса были поистине ужасны. К услугам олигархии, для выполнения ее планов, были не только ее огромные средства, но также и средства государственной казны.

Нанеся поражение пролетариату, промышленные короли взялись за средний класс. Ассоциации предпринимателей, которые еще недавно помогли олигархии расправиться с рабочими организациями, теперь сами оказались ее жертвой. Среди крушения и гибели, постигшей мелких дельцов и промышленников, уцелели только тресты, — и не только уцелели, но и развили кипучую деятельность. Они сеяли ветер, чтобы пожать бурю, — ведь буря сулила им неисчислимые богатства. И какие богатства! Чудовищные! Чувствуя себя достаточно крепкими и устойчивыми, чтобы выдержать натиск стихий, которые сами же они выпустили на волю, они шныряли среди обломков кораблекрушения, вылавливая из пучины все, что могло им пригодиться, беззастенчиво грабя свои жертвы. Акции американских предприятий продавались за бесценок, и тресты скупали все, что ни попадется, прибирая к рукам все новые и новые отрасли промышленности, наживаясь на разорении средних классов.

И вот летом 1912 года среднему классу был нанесен решающий удар. Даже Эрнест был поражен тем, как быстро это совершилось. С опасением смотрел он в будущее, не ожидая от осенних выборов ничего хорошего.

— Ничего не выйдет, — говорил он. — Мы разбиты. Железная пята у власти. Еще недавно я возлагал надежды на выборы, на то, что нам удастся завоевать власть мирным путем, — и оказался неправ. Прав был Уиксон. Скоро мы лишимся и последних жалких свобод. Железная пята втопчет нас в землю. Остается одно: решительное, кровопролитное восстание рабочего класса. Конечно, мы победим, но я содрогаюсь при мысли, во что обойдется нам победа.

С тех пор Эрнест все надежды возложил на революцию. В этом отношении он намного

опередил своих единомышленников. Его товарищи-социалисты не соглашались с ним. Они все еще верили, что победы можно добиться на выборах. Они не то чтобы растерялись — это были люди большой выдержки и мужества, — но все еще не понимали того, что происходило на их глазах. Опасность, о которой твердил Эрнест, предвидевший приход к власти олигархии, не казалась им серьезной. Он призывал их к бдительности, но они слишком верили в свои силы. В их теории социальной эволюции не было места для олигархии, и они отказывались ее видеть.

— Вот пошлем тебя в конгресс, и все устроится, — говорили они Эрнесту на одном из наших конспиративных собраний.

— А если меня выкинут из конгресса, — холодно спрашивал Эрнест, — а потом поставят к стенке и разнесут мне череп? Как это вам понравится?

— Тогда мы подымемся все как один! — сразу откликнулось несколько голосов. — Мы двинем против них все свои силы!

— И захлебнетесь в собственной крови, — ответил Эрнест. — То же самое утверждал и средний класс, а где сейчас его хваленые силы?

Глава одиннадцатая. На переломе

Мистер Уиксон не посылал за папой, они встретились неожиданно — на пароме, шедшем в Сан-Франциско, и, следовательно, предостережение, с которым он обратился к папе, было делом случая. Если бы не эта встреча, никакого предостережения не было бы. Правда, это ничего не изменило. Отец вел свой род от пассажиров «Мейфлауера» [78], и его не так-то легко было сломить.

— Эрнест был совершенно прав! — сообщил он мне уже с порога. — Твой Эрнест — умница! Я бы такого зятя не променял ни на Рокфеллера, ни на короля английского.

— Что случилось? — испуганно спросила я.

— Олигархия и в самом деле точит зубы — на нас с тобой во всяком случае. Мне сообщил об этом Уиксон чуть ли не этими самыми словами. Собственно для олигарха он проявил величайшую любезность — предложил мне вернуться в университет. Как это тебе нравится? Грязный обирала Уиксон решает вопрос, быть или не быть мне профессором Калифорнийского университета! Впрочем, он осчастливил меня и еще более лестным предложением: возглавить грандиозный институт физических наук — это новый проект наших олигархов: ведь им нужно куда-то девать свои прибыли.

«Помните, что я сказал этому социалисту, приятелю вашей дочери? — спросил он меня. — Я заявил ему, что мы раздавим рабочий класс. И так оно и будет. Перед вами я преклоняюсь, как перед ученым. Но если вы свяжете свою судьбу с судьбой рабочего класса, вам тоже солоно придется. Вот и все, что я вам хотел сказать». И он повернулся и пошел прочь.

— Значит, нам нужно поторапливаться со свадьбой, — сказал Эрнест, узнав об этом.

Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но вскоре мне это стало ясно. Мы как раз ждали квартальной выплаты сьеррских дивидендов, однако все сроки прошли, а отец не получил обычного извещения. Повременив несколько дней, он написал в контору. Оттуда немедленно ответили, что имя отца не значится в книгах Компании, — более того, у него вежливо попросили объяснений.

— За объяснениями дело не станет, черт бы их побрал совсем! — сказал папа и отправился в банк взять из сейфа свои акции.

— Твой Эрнест просто гений, — заявил он мне, возвратясь, когда я помогала ему снять пальто в прихожей. — Слышишь, дочка, твой будущий муж — гений!

Такие преувеличенные похвалы, я знала по опыту, не предвещали ничего хорошего.

— Со мной эта публика уже расправилась, — продолжал папа. — Представь себе, акций как не бывало! В сейфе одни только голые стенки. Видно, вам с Эрнестом действительно придется поторапливаться со свадьбой.

Отец и на этот раз остался верен своим лабораторным методам. Он предъявил Сьеррской компании иск, но, к сожалению, не мог представить суду ее конторских книг. К тому же с Компанией в суде считались, а с папой нет. Словом, все вышло как по писаному. Отец потерпел полнейшее поражение, и открытый грабеж восторжествовал.

Сейчас мне и грустно и смешно вспомнить, что после этого свалилось на голову бедного папы. Повстречав мистера Уиксона на улице в Сан-Франциско, он позволил себе назвать этого джентльмена отъявленным негодяем. Папу тут же арестовали, предъявив ему обвинение в оскорблении действием, приговорили к штрафу и обязали впредь не нарушать общественной тишины. Это было так нелепо, что он сам хохотал, вернувшись домой после всей этой эпопеи. Но какой шум подняли местные газеты! Они самым серьезным образом кричали о «микробе насилия», который поражает всякого, кто соприкасается с социалистами. Тихое, мирное житие моего отца выставлялось примером тлетворного действия этого ужасного микроба. Некоторые газеты утверждали, что престарелый профессор не выдержал умственного напряжения и сошел с ума и что самое целесообразное — отвести ему палату в соответствующем казенном заведении. И это было не пустой угрозой. Такая опасность действительно существовала, папа убедился в этом на примере епископа Морхауза, — и он так хорошо усвоил этот урок, что никакие преследования не могли уже вывести его из равновесия; мне думается, даже его враги становились в тупик перед такой сверхъестественной кротостью.

Следующим на очереди оказался наш дом, где прошло мое детство. Папе была предъявлена неведомо откуда взявшаяся просроченная закладная и предложено немедленно выехать. На самом деле ни о какой закладной не могло быть и речи: за участок было полностью заплачено при покупке, а дом строился на наличные деньги; и участок и дом были свободны от долгов. Но это не помешало нашим гонителям составить закладную по всей форме, со всеми полагающимися подписями и даже с отметками об уплате процентов за много лет. На сей раз папа и не пикнул: раз у него забрали все деньги — значит, могли забрать и дом. Искать защиты было негде. У власти были те, кто решил его уничтожить. Папа был истинный философ — он даже не сердился больше.

— Меня решено раздавить, — говорил он, — но отсюда еще не следует, что я должен сам рыть себе могилу. Нет, уж пощажу свои старые кости. Достаточно меня били. Не хватает мне еще на старости лет угодить в сумасшедший дом!

Кстати, это возвращает меня к нашему епископу Морхаузу, о котором я давно не упоминала. Но сначала расскажу о нашей с Эрнестом свадьбе. Я понимаю, что по сравнению с описываемыми здесь событиями все личное должно отступить на второй план, и расскажу об этом коротко.

— Вот мы и настоящие пролетарии, — сказал мне отец, когда мы покидали свой дом. — Я часто

завидовал твоему жениху: очень уж хорошо он знает пролетариат. Ну, а теперь и мне представляется возможность узнать и изучить его.

Очевидно, в папе заговорила романтическая жилка. Он и наши бедствия склонен был рассматривать как своего рода приключение. В душе его не было места ни злобе, ни обиде. Простодушный мудрец, он неспособен был к мстительным чувствам, а широкие духовные интересы позволяли ему легко мириться с утратой привычных житейских удобств. Когда мы переехали в плохонькую четырехкомнатную квартирку в пролетарском районе Сан-Франциско, южнее Маркет-стрит, папа радовался этой перемене, как ребенок. С этой свежестью восприятия он соединял зрелость и безошибочную ясность мысли, свойственную выдающемуся ученому. Ум его и в преклонном возрасте не утратил своей гибкости. Он не был рабом предубеждений, условное, привычное не имело над ним власти. Только научные и математические истины были для него обязательны, только с ними он считался. Мой отец был великий ученый. У него была душа и ум выдающегося человека. В некоторых отношениях он превосходил даже Эрнеста, а выше Эрнеста для меня не было никого.

Меня тоже отчасти радовала перемена в нашей жизни. Она спасала нас от организованного остракизма, которому мы подвергались в родном городе, с тех пор как навлекли на себя немилость нарождающейся олигархии. К тому же «приключение» это и для меня было исполнено романтики, тем более волнующей, что то была романтика любви. Изменение наших жизненных обстоятельств ускорило мой брак, и в четырехкомнатную квартирку на Пелл-стрит, в одной из трущоб Сан-Франциско, я въехала уже как жена Эрнеста.

А самое главное — я дала Эрнесту счастье! Я вошла в его бурную жизнь не как новая, беспокойная сила, но как сила, проливающая мир и радость. Со мной Эрнест отдыхал. Это было для меня лучшей наградой, а также свидетельством того, что я выполняю свой долг. Зажечь улыбку светлой радости и забвения в этих милых, усталых глазах — разве не было для меня величайшим счастьем?!

Милые, усталые глаза! Эрнест работал, как редко кто работает, и всю жизнь трудился для других, — это лучшее мерило его мужества, его высокого сознания. А сколько было в нем человечности и нежности! Бесстрашный борец, с телом гладиатора и душою орла, он был чуток и ласков со мной, как поэт. Да он и был поэтом. Дело его было для него песней. Всю жизнь пел он песнь о человеке. Душу Эрнеста переполняла любовь к человеку, и этой любви он отдал жизнь, ради нее принял мученический венец.

И это — без всякой надежды на воздаяние. В мировоззрении Эрнеста не было места вере в загробную жизнь. Весь устремленный в бессмертное, он отрицал бессмертие. Не правда ли, какой парадокс! Пламенный дух, он обрек себя холодной и суровой философии — материалистическому монизму. Я спорила с ним, говоря, что залогом бессмертия служит мне его крылатая душа и что мне, видно, придется прожить не одну вечность, чтобы измерить величие ее полета. И Эрнест обнимал меня и шутя называл своим маленьким метафизиком; усталости в глазах как не бывало, из них струился свет любви, который уже сам по себе был вернейшим доказательством его бессмертия.

И еще он называл меня своей милой дуалисткой и объяснял, что Кант, создавший учение о чистом разуме, предал разум во имя служения Богу. Он приводил мне этот пример, уверяя, что я способна сделать то же самое! И когда я, приняв это обвинение, храбро заявляла, что никакой вины тут не вижу, он еще крепче прижимал меня к себе и смеялся, как может смеяться только душа, возлюбившая Бога. Я утверждала, что наследственность и среда так же бессильны объяснить своеобразие и одаренность его натуры, как неуклюжие холодные пальцы науки не способны нащупать, отделить и препарировать то неуловимое, что является основой

всякой жизни.

Я считала пространство атрибутом божества и видела в человеческой душе отражение божественной сущности. И когда Эрнест называл меня своим неисправимым метафизиком, я называла его моим бессмертным материалистом. Так мы любили друг друга и были счастливы. Я прощала ему материализм ради его высокого служения, к которому не примешивалось и тени корысти, ради его безграничной скромности, исключавшей всякое самодовольство и самолюбование.

Но гордость была ему присуща. Какой же орел не знает гордости! Эрнест говорил: куда больше величия в том, чтобы слабый огонек жизни почитал себя богоподобным, чем чтобы божество почитало себя божеством. И он прославлял в человеке все то, что мнил земным и смертным. Он любил читать мне вслух один поэтический отрывок. Всего стихотворения он не знал и не мог доискаться, кто его автор[79]. Я привожу здесь эти строки не только потому, что Эрнест любил их, но и потому, что вижу в них отражение той же противоречивости, что жила в моем муже, узнаю ту же силу духа и то же отрицание его. Ибо как может человек, с восторгом, страстью и пламенным вдохновением повторяющий эти строки, быть только прахом земным, мимолетной тенью, зыбким, ускользающим облачком!

Мой по праву рожденья удел — торжество
И удача в суровой борьбе.
Жизнь я славлю свою, всей земле я пою
О моей высокой судьбе.
Узнай не одну я — мильоны смертей,
Что нас ждут до конца времен, —
Все ж, как чашу вина, пью я счастье до дна
Всех стран, веков и племен.
О пенная Гордость, о терпкая Власть,
О сладкая Женственность! — я
На коленях пью, славя чашу мою,
Золотой нектар бытия.
Я пью за Жизнь, я пью за Смерть,
Воспевая и эту и ту.
Пусть умру я — другой бокал круговой
Подхватит, как я, на лету.
Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет вселенной конец.
Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,
Мир страданий, душе дорогих:
Здесь я сердцем постиг и младенческий крик
И пытку мук родовых.
Пульс грядущих веков в юной алой крови!
Страсти целого мира вместив,
Этот дикий поток все сметает с дорог,
Самый ад на пути загасив.
От плоти до праха — я человек,
От трепетной плоти земной,
От сладостной тьмы нашей первой тюрьмы
До сиянья души нагой.

Кость от кости моей и от плоти плоть,
Мир покорен веленьям моим,
И к Эдему пути он стремится найти,
И порыв его непобедим.
Дай мне выпить, господь, кубок жизни до дна,
Весь в радуге красок живых,
И вечную ночь я смогу превозмочь
Виденьями снов золотых.
Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет вселенной конец.
Ведь это мой мир, мой прекрасный мир,
Царство радости светлой моей —
От сверкающих льдов заполярных краев
До тьмы любовных ночей[80].

Эрнест работал, выбиваясь из сил. Выносливый организм многое дозволял ему, но глаза его говорили об утомлении. Милые, усталые глаза! Эрнест спал всего каких-нибудь четыре-пять часов в сутки и все же не успевал переделать все свои ежедневные дела. Он продолжал пропагандистскую работу, и его лекции в рабочих аудиториях были расписаны на недели вперед. Много времени отнимала избирательная кампания: возни было столько, что другому хватило бы на целый рабочий день. С разгромом социалистических издательств его скудные авторские доходы прекратились, и надо было думать о новом заработке; не только революционная работа, но и жизнь предъявляла свои требования. Эрнест переводил для журналов научные и философские статьи и, придя домой поздно вечером, утомленный сутолокой избирательной кампании, садился за стол и работал далеко за полночь. Ко всему прочему он еще и учился, учился до самой смерти, и умудрялся делать большие успехи.

И он еще находил время дарить мне любовь и счастье. Разумеется, это было возможно только потому, что я всецело жила его жизнью. Я научилась стенографировать и писать на машинке и стала его секретарем. Эрнест уверял, что этим я наполовину его разгружаю. Во всяком случае, это позволяло мне целиком войти в его работу. Мы жили одними интересами, вместе трудились и вместе отдыхали.

А сколько драгоценных минут мы урывали для себя, похищая их у работы, пусть это было только слово, короткий поцелуй, мгновенная вспышка любви… Взятые у жизни украдкой, эти минуты были тем сладостней. Ибо мы жили на сверкающих высотах, где воздух был прозрачен и чист, где труд был обращен на пользу человечества и куда низменным, эгоистическим побуждениям не было доступа. Мы любили нашу любовь и никогда ничем ее не осквернили. И самое главное: я выполняла свой долг. Я давала отдых и покой тому, кто самоотверженно работал для других, — моему милому материалисту с усталыми глазами.

Глава двенадцатая. Епископ

Когда мы поженились, случай опять свел меня с епископом Мохаузом. Но расскажу по порядку. После своего ошеломляющего выступления на съезде ИПГ епископ, добрая душа, не устоял перед уговорами заботливых друзей и взял отпуск. Однако вернулся он, еще более утвердившись в своем решении проповедовать веру истинную. Первая же его проповедь повергла в ужас всех прихожан, так как она была почти дословным повторением того, что епископ говорил съезду. Снова и снова твердил он, что церковь отринула учение Христа и на

место спасителя поставила маммону.

В результате беднягу отправили, уже не спросясь, в частную психиатрическую лечебницу, меж тем как газеты скорбели о его душевном заболевании и умилялись его кротости и голубиной чистоте. В лечебнице епископа держали на положении узника. Я несколько раз пыталась навестить его, но не была допущена. Меня глубоко волновала трагедия разумного, нормального, чистого душой человека, раздавленного жестоким насилием общества, так как мне были хорошо знакомы и здравый ум и благородные побуждения епископа. Эрнест говорил, что его погубило незнание законов биологии и социологии, оно-то и помешало ему стать на правильный путь в борьбе с торжествующим злом.

Меня страшила беспомощность нашего друга. Если он не отступится от своих убеждений, его ждет смирительная рубашка. И ничто не спасет его — ни деньги, ни высокое положение, ни образование. Его взгляды казались обществу опасными, и общество не допускало, что их может исповедовать нормальный человек. Так по крайней мере дело рисовалось мне.

Но голубиная кротость не помешала епископу проявить на этот раз мудрость змия. Он понял грозящую ему опасность и, увидев себя в сетях, сделал попытку освободиться. Он вынужден был один бороться за свое спасение, не рассчитывая на помощь таких друзей, как папа, Эрнест или я. Принудительное затворничество его отрезвило. Вскоре душевное здоровье вернулось к епископу Морхаузу: видения не посещали его больше, он окончательно излечился от мании, будто долг общества — пасти Христову паству.

Короче говоря, он выздоровел, совсем выздоровел, и газеты, а также церковники радостно приветствовали его возвращение. Я однажды зашла в храм, где он служил. Его проповедь ничем не отличалась от тех, какие он произносил, когда ему еще не являлись видения. Разочарование, возмущение овладели мной. Неужели нашего епископа все-таки удалось сломить? Так, значит, он трус? И отречение вырвали у него угрозами? А может быть, этот подвиг оказался ему не под силу, и он вынужден был сдаться перед тиранией установленного?

Я побывала у епископа в его роскошном особняке. Как ужасно он изменился! Исхудал, лицо избороздили морщины, которых я раньше не замечала. Чувствовалось, что он смущен и не рад моему приходу. Во время нашего разговора он все теребил рукав, глаза его бегали по сторонам, не решаясь встретиться с моими. Видно было, что мысли его где-то блуждают, он то умолкал, то говорил бессвязно, перескакивая с одного на другое. Ничто не напоминало в нем знакомого мне спокойного человека с благостным лицом Христа, с ясными, прозрачными глазами, со взором светлым и безбоязненным, как его душа. Беднягу, конечно, истязали, решила я, побоями привели к смирению. Он не устоял перед этой волчьей стаей.

Мне было грустно, бесконечно грустно. Речи епископа звучали уклончиво, и он так настораживался при каждом моем слове, что я не решалась ни о чем расспрашивать. Туманно упомянул он о своей болезни, а потом мы толковали о вопросах, касающихся его храма, о недавно отремонтированном органе и всяких благотворительных делах. Когда я собралась уходить, епископ так откровенно обрадовался, что я, наверно, не сдержала бы смеха, когда бы сердце мне не жгли слезы.

Бедный подвижник! Если бы только я знала! Он сражался, как титан, а я и не подозревала. Один, совсем один среди миллионов своих ближних, он продолжал борьбу. Колеблясь между страхом и верностью долгу и правде, он не предал долга и правды. И так глубоко было его одиночество, что даже мне он не доверился. Горе научило его осторожности.

Вскоре все это открылось мне. Однажды епископ исчез. Он никого не предупредил о своем

уходе. Так как дни проходили за днями, а он все не появлялся, в городе возникли слухи, что в припадке внезапного помешательства он наложил на себя руки. Но эти предположения рассеялись, когда стало известно, что епископ распродал все свое имущество: городской дом и загородную виллу в Менло-парке, все картины, коллекции и даже заветное свое сокровище — библиотеку. Словом, готовясь к решительному шагу, епископ втихомолку разделался со всем своим земным достоянием.

Все это произошло в то время, когда мы были заняты собственными горестями. И только после переезда на новую квартиру, когда для нас началась новая жизнь, мы стали думать и гадать о том, что случилось с епископом.

Разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды, в сумерки, я спустилась вниз, в мясную, чтобы купить к ужину отбивные котлеты. (Теперь, в нашем новом положении, мы последнюю дневную трапезу называли не обедом, а ужином.)

Когда я выходила из мясной, кто-то вынырнул из дверей зеленной лавки, тут же рядом. Что-то знакомое в этой нахохленной фигуре заставило меня обернуться. Но заинтересовавший меня человек свернул за угол и быстро удалился. Я вгляделась. Сутулые плечи незнакомца и седая бахромка волос между воротником и полями шляпы безусловно кого-то мне напоминали. Вместо того чтобы вернуться домой, я бросилась за ним следом, стараясь отогнать мысли, невольно приходившие мне в голову. Не может быть, говорила я себе. В этом выцветшем комбинезоне, обтрепавшемся и не по росту длинном — нет, ни за что не поверю!

Я остановилась, смеясь над собой, готовая прекратить нелепую погоню. Но эти плечи и седые кудри… И я снова побежала следом. Обгоняя незнакомца, я бросила на него испытующий взгляд, а потом круто повернулась. Да, никаких сомнений, это и в самом деле был епископ Морхауз.

Епископ остановился. От неожиданности у него пресеклось дыхание, большой бумажный пакет выскользнул из рук и упал на тротуар. Из разорванной бумаги нам под ноги покатилась картошка. Епископ смотрел на меня с удивлением и испугом. Он весь как-то поник, плечи еще больше ссутулились.

Я протянула ему руку. Он пожал ее — его рука была холодная и влажная, — смущенно откашлялся, и я заметила у него на лбу капли пота. Видно было, что он не может прийти в себя от испуга.

— Картошка, — чуть слышно пробормотал он. — Какая жалость!

Мы оба нагнулись и начали подбирать картошку и укладывать в рваный пакет. Епископ бережно, локтем прижал его к себе. Между тем я выразила радость по поводу нашей нечаянной встречи и начала упрашивать его сейчас же идти к нам.

— Папа так обрадуется, — уговаривала я. — И живем мы совсем рядом.

— Нет, нет, — отвечал он. — Мне нельзя. Прощайте.

Он боязливо огляделся, словно опасаясь, что за ним следят, и вдруг пошел прочь.

— Дайте мне ваш адрес, я как-нибудь зайду, — предложил он, видя, что я упорно следую за ним с явным намерением не упускать из виду, после того как я так счастливо на него набрела.

— Нет, — твердо сказала я. — Я не отпущу вас.

Он посмотрел на картошку, вываливавшуюся из пакета, и на сверток в другой руке.

— Поверьте, это невозможно. Простите меня. Если бы вы только знали…

Казалось, он был готов разрыдаться, но уже в следующую минуту овладел собой, и голос его зазвучал уверенно.

— Видите, у меня провизия, — продолжал он. — Это очень печальная история. Ужасная история, я бы сказал. Есть тут одна старушка. Она голодает. Надо ей сейчас же это отнести. Позвольте же мне. Вы сами понимаете… А потом я вернусь. Обещаю вам.

— Ну что ж, пойдемте вместе, — предложила я. — Это далеко?

Он снова вздохнул, но подчинился.

— В квартале отсюда… Но только, пожалуйста, скорее.

В этот вечер благодаря епископу я кое-что узнала о том, что непосредственно меня окружало. До сих пор я и не догадывалась, какая ужасная, беспросветная нужда ютится со мною рядом. Я не занималась благотворительностью. Эрнест не раз говорил мне, что облегчать нужду делами милосердия — все равно, что лечить язву примочками. Ее надо удалить, говорил он. Дайте рабочему его полный заработок. Назначьте пенсию тому, кто честно потрудился в жизни, и вам не придется заниматься благотворительностью. Убежденная его доводами, я все силы отдавала нашему делу и не растрачивала их на облегчение тех страданий, которые на каждом шагу порождает несправедливый общественный строй.

Я последовала за моим спутником, который вскоре привел меня в тесную каморку во дворовом флигеле. Здесь жила старушка — немка лет шестидесяти, как сообщил мне епископ. Она удивленно вскинула на меня глаза, но, приветливо поздоровавшись, опять повернулась к своей работе. На коленях у нее лежали мужские брюки. Рядом на полу высилась кипа таких же брюк. Увидев, что в комнате нет ни угля, ни растопки, епископ снова куда-то ушел.

Заинтересовавшись ее работой, я подняла с полу пару брюк.

— Шесть центов, — сказала старушка, ласково кивая головою, но не поднимая на меня глаз.

Она не слишком проворно управлялась со своим делом, зато ни на минуту не отрывалась от него. Видно было, что все ее существо подчинено одному только импульсу — шить и шить, класть стежок за стежком.

— Только и всего? — удивилась я. — За такую работу? Сколько же времени берет одна пара?

— Да, да, — сказала она. — Так они платят. Шесть центов за отделку брюк. На каждую пару у меня уходит два часа. Хозяин этого не знает, — добавила она, видимо, боясь, как бы не повредить своему работодателю. — Он не виноват, что я так долго копаюсь. Ревматизм совсем замучил. Молодые, пожалуй, вдвое быстрее справляются. На хозяина грех жаловаться. Видите, он дает мне работу на дом — знает, как на меня действует шум машины. Кабы не его доброе сердце, пришлось бы с голоду помирать.

Да, швеям в мастерской он платит восемь центов с пары. Но что поделаешь!.. Теперь и молодым не хватает работы. А уж старуха пропадай совсем. Бывает, что домой принесешь одну только пару. Ну, а сегодня до вечера с восемью нужно справиться.

Я спросила, сколько часов она проводит за работой. Она сказала, что это зависит от сезона.

— Летом, когда срочные заказы, работаю с пяти утра до девяти вечера. А зимой холод не позволяет. Бывает, руки так сведет, что пальцы не гнутся. Пока их еще разогреешь. Зато уж потом засиживаюсь за полночь.

Да, последнее лето было трудное. Кризис, сами знаете. Прогневили мы, видно, Бога. На этой неделе у меня первый раз работа. А известно, когда работы нет, туговато приходится. Я всю жизнь с иглой. И дома, в Германии, и здесь, в Сан-Франциско, вот уже тридцать три года. Главное, было бы чем уплатить за квартиру. Домохозяин у нас добрый, но насчет квартирной платы строг. Что ж, это его право. Хорошо хоть за квартиру недорого берет. Три доллара за эту вот комнату. Разве это много? Но только попробуй наскреби каждый месяц эти три доллара!

Она умолкла и, все так же покачивая головой, склонилась над шитьем.

— У вас, должно быть, каждый цент на счету? — снова вызвала я ее на разговор.

Она закивала головой.

— Только бы за квартиру отдать, а там уж как-нибудь. Конечно, мяса не купишь. И кофе пустой попьешь, забелить-то его нечем. Но уж раз-то в день обязательно покушаешь, а когда и два.

Старушка сказала это не без гордости, с тем оттенком удовлетворения, какое дает жизненный успех. Она продолжала шить молча, и я заметила, как внезапно набежавшая грусть затуманила ее добрые глаза и залегла у рта горькими складками. Взгляд ее устремился куда-то далеко. Старушка быстро отерла непрошеную слезу. Она мешала ей шить.

— Нет, это не с голоду сердце ноет, — пояснила она. — К голоду нам не привыкать стать. Дочку мне схоронить пришлось — машина ее сгубила. Нелегко ей жилось, бедняжке, — всегда в работе да в заботе. А все же я никак не пойму — уж такая была крепкая, ей, бывало, все нипочем. И совсем молодая: сорок лет — небольшие года. Работала всего-то каких-нибудь тридцать лет. Правда, сызмальства ей начать пришлось. Муж у меня рано помер: котел у них разорвался на заводе. Что было делать? Ей как раз одиннадцатый годок пошел, но большая была девочка, крепкая. Это ее машина извела. Нет, нет, не говорите, я знаю, что машина. Проворнее моей дочки не было работницы на фабрике. Уж я сколько передумала — а теперь знаю... Потому-то и не могу работать в мастерской: машина на меня действует. Все мне чудится, будто она твердит: «Да-да, я-я». И так весь день-деньской. Поневоле вспомнишь дочку и уж с работой никак не сообразишь.

На старые ее глаза опять навернулись слезы. Старушка утерла их ладонью и низко склонилась над шитьем.

Я услышала, как епископ, спотыкаясь, подымается вверх по лестнице, и поспешила открыть ему. Боже, какое это было зрелище! Он тащил на спине полмешка угля, сверху лежала растопка. Все лицо у него было черное, пот струйками сбегал по щекам. Он сбросил свою ношу у печки и, достав из кармана пестрый платок, принялся вытирать им лицо. Я не верила своим глазам. Трудно было узнать нашего епископа в этом чумазом, как угольщик, рабочем, одетом в расстегнутую у ворота дешевую блузу (пуговицу он где-то потерял), а главное — в комбинезон. Особенно неприглядным казался мне его комбинезон: сильно потертые брюки спускались на самые пятки, а в поясе стянуты были ремешком, как у поденщика.

Епископу было жарко от натуги, но у бедной старушки коченели пальцы, и, прежде чем уйти, он растопил печку. Я начистила картошки и поставила ее на огонь. Впоследствии мне не раз

приходилось слышать о еще более тяжких горестях, погребенных в мрачных колодцах окрестных домов.

Наконец, мы явились домой, где Эрнест уже ждал меня с беспокойством. Когда первая радость и волнение, вызванные нашим приходом, улеглись, епископ с наслаждением откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в обвисающих штанах и облегченно вздохнул. Он сказал, что впервые со дня своего исчезновения встречается с друзьями. Очевидно, он сильно истосковался за эти недели одиночества. Он многое порассказал нам, но больше всего говорил о том, какое для него счастье выполнять заветы Учителя.

— Теперь я поистине пасу его овец. Мне преподан великий урок. Нельзя насыщать душу, пока голодно тело. Накормите их сперва хлебом, маслом и картофелем — только тогда они возжаждут пищи духовной.

Он с удовольствием ел мои котлеты. Никогда в прежнее время я не замечала у него такого аппетита. Когда мы заговорили об этом, епископ сказал, что чувствует себя превосходно, как никогда в жизни.

— Я теперь все пешком хожу, — сказал он и залился краской при мысли о том времени, когда разъезжал в карете, как будто это бог весть какой грех.

— Вот и здоровье мое поправилось, — прибавил он поспешно, — а главное, я счастлив, трудно сказать, как счастлив. Наконец-то я в самом деле принял посвящение.

И все же на лице его была печать скорби, — то была вся скорбь мира, которую он взвалил себе на плечи. Теперь он видел жизнь во всей ее неприглядности, и это была не та жизнь, о которой ему говорили убористые тома его библиотеки.

— И всем этим я обязан вам, молодой человек, — обратился он к Эрнесту.

Тот смутился.

— Я предупреждал вас, — сказал он неловко.

— Вы не поняли меня, — возразил епископ. — Я говорю не в упрек вам, а в благодарность. Вам я обязан тем, что вышел на путь истинный. От теорий вы привели меня к подлинной жизни. Вы раскрыли мне глаза на обман, царящий в обществе. Вы были светом, светившим во тьме, а ныне и я узрел свет. И я был бы счастлив, если бы не… — голос его болезненно дрогнул, глаза расширились от страха, — если бы не мои гонители. Я никому не причиняю зла. Почему они не оставят меня в покое? Хотя дело не в этом. Такова природа всякого гонения. Но лучше бы они меня исполосовали бичами или сожгли на костре, лучше бы распяли вниз головой. Самое страшное для меня — смирительный дом. Каково это — быть брошену в узилище бесноватых! Все во мне содрогается при этой мысли. В лечебнице я насмотрелся на них. Они неистовствуют. Кровь леденеет в жилах при одном воспоминании. И провести остаток дней среди воплей мятущегося безумия! О, только бы не это! Только не это!

Больно было смотреть на бедного епископа. Руки у него тряслись, тело дрожало, как в ознобе, — казалось, всем существом он стремится отогнать страшные видения, встающие в памяти… Но он так же внезапно успокоился.

— Простите, — сказал он кротко. — Это все нервы. Если путь мой и приведет меня в бездну ужаса, да свершится воля его. Мне ли роптать на пославшего меня в мир?

Рыдания подступили мне к горлу. Великий епископ! Воин! Воин во имя божие!

За этот вечер он многое рассказал нам.

— Я продал свой дом, вернее — дома, и все мое достояние, и сделал это тайно, иначе мне ничего не оставили бы. Это было бы ужасно. Я просто надивиться не могу, сколько картофеля, хлеба, мяса и топлива можно купить на двести — триста тысяч долларов. — Епископ повернулся к Эрнесту. — Вы были правы, молодой человек. Труд оплачивается ужасающе низко. Я никогда не трудился и только велеречиво взывал к фарисеям, думая, что проповедую слово божие, а между тем у меня у самого было полумиллионное состояние. Я представления не имел, что значат полмиллиона, пока не научился исчислять деньги стоимостью картофеля, хлеба, масла, мяса. А тогда я понял и другое. Я понял, что мне принадлежат горы картофеля, хлеба и мяса и что я и пальцем не пошевелил, чтобы добыть их. И мне стало ясно, что кто-то другой трудился, добывал — и был потом ограблен. А столкнувшись с бедняками, я воочию увидел тех, кто ограблен, кто голодает и нуждается, потому что их всего лишили.

По нашей просьбе он опять вернулся к рассказу о себе.

— Деньги? Я открыл счета на несколько вымышленных имен в различных банках. Никогда их не отнимут у меня — хотя бы потому, что не найдут. И я так рад этим деньгам! Сколько на них можно купить всякой провизии! Никогда я не знал, на что нужны деньги.

— Деньги нужны, между прочим, и нам — на пропагандистскую работу, — сокрушенно вздохнул Эрнест. — Большая была бы польза.

— Вы думаете? Не знаю... Я не поклонник политики. Боюсь, что тут я совершеннейший профан...

Эрнест, со свойственной ему в этих вопросах деликатностью, промолчал, хотя ему лучше, чем кому-либо, было известно, как нуждается в средствах социалистическая партия.

— Живу я в меблированных комнатах, — продолжал епископ, — и нигде не засиживаюсь подолгу — боюсь. Снимаю еще две каморки в рабочих семьях, в разных концах города. Это непростительное мотовство с моей стороны, но оно вызвано необходимостью. Экономлю деньги тем, что сам стряпаю, хотя время от времени позволяю себе роскошь зайти в дешевое кафе. Кстати, я сделал открытие. Раньше я только слышал о тамала[81], — представьте, это превосходное блюдо, особенно вечером, когда вас до костей пробирает ветер и сырость. Дорогое оно, конечно, но я знаю один ресторанчик, где вам за десять центов отпустят тройную порцию; качеством оно несколько хуже, но согревает замечательно.

Итак, молодой человек, с вашей помощью я обрел свое призвание. Тружусь на ниве господней, — он посмотрел на меня с улыбкой. — Вы застигли меня на работе. Но никто из вас, разумеется, меня не выдаст.

Епископ сказал это с видимой беспечностью, но чувствовалось, что на душе у него неспокойно. Он обещал вскоре зайти опять, но неделю спустя мы прочитали о трагической судьбе епископа Мархауза, которого пришлось свезти в городскую больницу для умалишенных. Как говорили газеты, он был в тяжелом, но не безнадежном состоянии. Тщетно добивались мы свидания с узником, а также врачебной экспертизы. На все наши вопросы мы не получали никакого ответа, за исключением все той же стереотипной фразы: состояние тяжелое, но не безнадежное...

— Христос велел богатому юноше продать свое имущество и деньги раздать нищим, — говорил

Эрнест с горечью. — Епископ последовал его завету — и угодил в сумасшедший дом. Сейчас другое время, другие порядки: богача, раздающего свое имущество беднякам, объявляют сумасшедшим. Вопрос не подлежит обсуждению! Общество высказалось — и баста!

Глава тринадцатая. Всеобщая стачка

Эрнест был избран в конгресс осенью 1912 года, когда политическая обстановка в стране сложилась для социалистов благоприятно. Этому немало способствовало падение Херста[82]. Плутократия справилась с ним шутя. Издание многочисленных газет обходилось Херсту в восемнадцать миллионов долларов ежегодно, причем издержки эти с лихвой покрывала плата за печатаемые им объявления. Таким образом, источником финансового могущества Херста был средний класс. Тресты не нуждались в рекламе[83]. Для того, чтобы свалить Херста, достаточно было лишить его объявлений.

Уничтожен был пока что не весь средний класс — наиболее стойкая его часть все еще цеплялась за жизнь. Но те мелкие фабриканты и дельцы, которые еще кое-как тянули, были всецело отданы на милость плутократии. Их лишили всякой самостоятельности, как экономической, так и политической. Достаточно было хозяйского окрика, чтобы они отняли у Херста свои объявления.

Херст отчаянно сопротивлялся. Он продолжал выпускать свои газеты, терпя ежемесячный убыток в полтора миллиона долларов; мало того, продолжал печатать объявления, за которые ему никто не платил. Новый хозяйский окрик — и мелкие дельцы и фабриканты забросали его письмами, требуя, чтобы он прекратил печатание их старых объявлений. Но Херст гнул свою линию. Со всех сторон сыпались на него судебные предостережения. Херст пропускал эти угрозы мимо ушей. В конце концов его засадили на полгода под арест за ослушание и неуважение к суду и вдобавок разорили многочисленными исками. Это решило его судьбу. Плутократия вынесла Херсту приговор, подвластный ей суд привел его в исполнение. Вместе с Херстом рухнула демократическая партия, которую он только недавно возглавил.

С разгромом демократической партии и падением ее лидера у последователей Херста оставалось только два пути: либо к социалистам, либо к республиканцам. Большинство повернуло к социалистам. Неожиданно нам, социалистам, пришлось воспользоваться плодами демагогической пропаганды Херста.

Усилившееся разорение фермеров тоже прибавило бы нам голосов, если бы не кратковременный дутый успех фермерской партии. Эрнест и другие социалистические лидеры настойчиво боролись за голоса фермеров, но разгром социалистической прессы и издательств нанес нашей партии слишком большой урон, который не могла возместить молодая, еще не оперившаяся изустная пропаганда. Поэтому политики вроде мистера Кэлвина, сами в прошлом разоренные фермеры, смогли вовлечь фермерские массы в бесплодную и безнадежную кампанию.

— Вот уж горе-политики, — говорил о них Эрнест, — тресты и вознесут и разжалуют их в один миг.

Так оно и случилось. Семь спевшихся между собой крупнейших трестов страны организовали «пул»: сложив свои огромные прибыли, они создали единый сельскохозяйственный трест. Железнодорожные компании, контролировавшие тарифы, и биржевые спекулянты, контролировавшие цены, давно уже обрекли фермерское население на кабальную задолженность. К тому же оно задолжало колоссальные суммы банкам и трестам. Фермерство билось в захлестнувшей его петле. Оставалось только затянуть ее, что и сделал новый трест.

Кризис 1912 года и без того вызвал ужасающее падение цен на сельскохозяйственном рынке. Но новый трест продолжал умышленно снижать цены, доводя фермеров до полного разорения, а железнодорожные компании все повышали тарифы, чтобы совсем их доконать. Фермеры входили в новые долги, не успев разделаться со старыми. Наконец грянул гром. Было объявлено о полном прекращении выдачи ссуд под земельную собственность и об административно-судебном взыскании по старым закладным. Что оставалось делать фермерам, как не отдать тресту свою землю, а отдав, наняться на службу в тот же самый трест — управляющими, инспекторами, десятниками и простыми рабочими? Теперь они работали на жалованье. Из мелких собственников они превратились в прикрепленных к земле рабов, вынужденных довольствоваться жалкими крохами. Им нельзя было переменить хозяина, потому что хозяин всюду был один — плутократия; нельзя было уйти в город — и там хозяйничала плутократия. Оставался еще один выход — махнуть на все рукой и превратиться в бродяг, обреченных на бездомное, голодное существование. Но новые, более суровые законы против бродяжничества закрыли для них и эту возможность.

На первых порах отдельным фермерам, а местами и целым общинам, находившимся в особенно благоприятных условиях, удалось избежать этой судьбы. Но то были лишь счастливые исключения, которые не могли идти в счет: не прошло и года, как и их смело начисто[84].

Все это и заставило социалистических лидеров — всех, за исключением Эрнеста, — уже осенью 1912 года заговорить о близком крушении капитализма. Такие симптомы, как нарастающий кризис и увеличение армии безработных, уничтожение фермерского сословия и среднего класса, разгром рабочих организаций, оправдывали, казалось, самые смелые чаяния и побуждали социалистов перейти в наступление на плутократию.

Увы, мы недооценивали силы противника! Социалисты уже трубили о своей близкой победе на выборах, выступая с широковещательными декларациями. Плутократия приняла вызов. Трезво взвесив и подсчитав все шансы, она нанесла нам поражение, расколов наши ряды. Это агенты плутократии, действуя исподтишка, вопили о том, что социалисты безбожники, для них нет ничего святого. Это плутократия натравила на социалистов церковь, в первую очередь католическую, похитив у нас значительную часть рабочих голосов. Это плутократия, действуя через подставных лиц, возродила фермерскую партию, распространив ее влияние на города, где к ней примкнули остатки среднего класса.

Тем не менее социалисты добились больших успехов. Однако это не было решающей победой, которая закрепила бы за нами руководящие посты и подавляющее большинство в законодательных собраниях. Повсюду мы оставались в меньшинстве. Правда, мы послали в конгресс пятьдесят наших товарищей, но, когда весной 1913 года они заняли свои места в капитолии, им пришлось вскоре убедиться в полном своем бессилии. И мы еще оказались в лучшем положении, чем фермерская партия, которая добилась в ряде штатов руководящих административных постов; когда весной 1913 года ее представители явились, чтобы занять эти посты, их и на порог не пустили; отставленные сановники продолжали править как ни в чем не бывало, в судах распоряжались прислужники олигархов. Но не буду забегать вперед. Мне еще предстоит рассказать о знаменательных событиях зимы 1912 года.

Экономический кризис привел к резкому сокращению потребления товаров. Рабочие не имели заработка и ничего не покупали. У плутократов оставалось на руках огромное количество товарных излишков, которые необходимо было вывезти за границу, тем более что они нуждались в средствах для своих обширных планов. В своей борьбе за внешние рынки американская плутократия столкнулась с Германией. Экономические конфликты, как правило, приводят к войне, и данный случай не явился исключением. Усиленно готовился кайзер — готовились и Соединенные Штаты.

Черные, зловещие тучи надвигающейся войны сгущались. Все предвещало мировую катастрофу. Повсюду свирепствовал кризис и восставали рабочие, повсюду исчезал средний класс и множились армии безработных, во всем мире шла борьба за внешние рынки и слышалось подземное клокотание и гул приближающейся социалистической революции[85].

Олигархия стремилась к войне с Германией. У нее были на это десятки причин. В калейдоскопической смене событий, порожденных войной, в перетасовке международных связей, в заключении новых договоров и союзов она видела возможность богатой поживы. Кроме того, война должна была поглотить излишки во многих странах, сократить армии безработных, наконец, дать олигархам передышку для подготовки и выполнения их планов. Война позволила бы им завладеть мировым рынком. Она позволила бы создать в Соединенных Штатах большую постоянную армию, а популярный в народе лозунг «Социализм против олигархии» можно было бы подменить лозунгом «Америка против Германии».

Олигархии не просчитались бы в своих надеждах, если бы не социалисты. В наших четырех комнатушках на Пелл-стрит состоялось тайное совещание социалистических лидеров Западных штатов. Здесь было выработано и определено наше отношение к войне. Не первый раз социалистам приходилось выступать против военной угрозы[86], но впервые в истории это было сделано в Соединенных Штатах. После совещания мы обратились в наш национальный комитет, а затем и в Европу, в Бюро Интернационала, и к нам, в Америку, и обратно полетели шифрованные телеграммы.

Немецкие социал-демократы выразили готовность нас поддержать. Эта партия, насчитывавшая в своих рядах свыше пяти миллионов членов, из которых многие служили в регулярных войсках, пользовалась большим влиянием на профсоюзы. Американские и немецкие социалисты выступили с резкими антивоенными декларациями, угрожая всеобщей забастовкой. Приготовления к ней были начаты немедленно. Кроме того, революционные партии всех стран открыто заявили о своей готовности поддержать социалистический лозунг мира всеми средствами — вплоть до восстания и революции в своей собственной стране. Мы, американские социалисты, смотрим на последовавшую за этим всеобщую забастовку как на величайшую нашу победу.

4 декабря правительство Соединенных Штатов отозвало из Берлина своего посла. В ту же ночь немецкая эскадра, подойдя к Гонолулу, потопила три американских крейсера и таможенный катер и обстреляла город. На следующий день Германия и США объявили друг другу войну. Социалисты обеих стран ответили на это призывом к всеобщей забастовке.

Это было первое столкновение кайзера с теми людьми, на которых держалась вся его страна. Он мог править только с их согласия. Новизна положения заключалась в полнейшей пассивности восстания. Ни волнений, ни беспорядков, рабочие просто бездействовали. Но своим бездействием они сковывали правительству руки. Кайзер только и ждал случая, чтобы спустить на восставших рабочих свою свору кровавых псов, — но не тут-то было. Он не мог мобилизовать армию и начать войну, ни даже покарать непокорных подданных. Во всей его империи не вертелось ни одно колесо. Поезда стояли, телеграф безмолвствовал, — телеграфисты и железнодорожники бросили работу вместе со всем прочим населением.

То же самое происходило в Соединенных Штатах. Наконец-то организованный пролетариат сделал правильный вывод из полученных им суровых уроков. Потерпев поражение в экономической борьбе, он примкнул к борьбе политической и пошел за социалистами, — ибо всеобщая забастовка носила политический характер. Пролетариат был так основательно побит, что ему нечего было терять: им владела решимость отчаяния. Рабочие, побросав инструменты, миллионами покидали фабрики и расходились по домам. Повсюду на первом месте были

механики. Их раны еще кровоточили, их организации были разгромлены, но они без колебаний присоединялись к забастовке, увлекая за собой своих верных союзников, металлистов.

Чернорабочие и неорганизованные массы трудящихся тоже присоединились к забастовщикам. Забастовка сковала все в стране. Особенно непримиримо были настроены женщины. Они грудью стали за мир, они не желали отпускать своих мужчин на бессмысленную гибель. Идея всеобщей забастовки была популярна, она всем пришлась по вкусу, она восхищала народ, удовлетворяя присущее ему чувство юмора. Она пленяла воображение. Даже школьники бастовали, не желали отставать от взрослых, и учителя, наведывавшиеся в школу, бежали из гулких, пустынных классов. Всеобщая забастовка приобрела характер всенародного гулянья. Столь очевидное торжество рабочей солидарности возбуждало в народе ликование. К тому же этот взрыв могучего веселья, казалось, не таил в себе никакой опасности. Попробуй, накажи кого-нибудь, когда все одинаково виноваты!

Жизнь в Соединенных Штатах остановилась. Никто не знал, что творится в мире. Не было ни газет, ни писем, ни официальных телеграмм. Каждая община, каждая населенная местность была так изолирована, словно непроходимые дебри, простираясь на тысячи миль, отделяли их от внешнего мира. Все кругом, казалось, перестало существовать. И такое состояние страна переживала целую неделю.

В Сан-Франциско не знали, что творится в Окленде или Беркли, по ту сторону залива. Это рождало странное, гнетущее чувство, словно вы присутствовали при издыхании какого-то исполинского космического существа.

Пульс страны перестал биться. Нация в полном смысле слова умерла. На улице — ни громыхания подвод, ни фабричных гудков, ни жужжания проводов, ни трамвайного дребезжания, ни крика газетчиков... Лишь изредка боязливой тенью мелькнет случайный прохожий, подавленный своей нереальностью на фоне мертвой тишины.

Эта неделя тишины многому научила олигархию, и она хорошо усвоила преподанный ей урок. Всеобщая стачка была для нее предостережением. Больше это не должно было повториться. Олигархия намерена была об этом позаботиться.

По истечении недели, как и было решено заранее, немецкие и американские телеграфисты вернулись к своим аппаратам, и социалистические лидеры обеих стран предъявили своим правительствам ультиматум: конец войне или продолжение всеобщей забастовки. Переговоры тянулись недолго. Обе стороны заявили о ликвидации военного конфликта, и население вернулось к обычным занятиям.

Возобновление мирных отношений положило начало союзу между Германией и США. В сущности, это был союз между кайзером и олигархией против их общего врага — революционного пролетариата обеих стран. Но когда впоследствии немецкие рабочие восстали и сбросили кайзера, олигархия вероломно отказалась от своих обязательств союзной державы. Американским олигархам был на руку уход с мирового рынка их ненавистного конкурента, они только этого и добивались. С падением империи Германия не была больше заинтересована в вывозе своих товаров. Создав у себя социалистическое государство, германский народ отныне мог сам потреблять все, что он производил. Разумеется, это не мешало ему обменивать некоторые свои товары на такое заграничное сырье или изделия, в которых он нуждался. Но между подобным обменом и вывозом товарных излишков нет ничего общего.

— Держу пари, что олигархия опять окажется права, — сказал Эрнест, когда о ее вероломстве стало известно. — Она уж найдет себе оправдание.

И действительно, олигархи не замедлили разблаговестить, что в своем решении они руководились кровными интересами американского народа. Разве Америка не избавилась от ненавистного конкурента на мировом рынке? Теперь никто не помешает ей сбывать свои излишки за границу.

— Самое страшное — это наше бессилие, — говорил Эрнест. — Мы фактически передоверили этим кретинам интересы нации. Мы, видите ли, будем теперь больше вывозить за границу, а следовательно — меньше оставлять себе для собственного потребления!

Глава четырнадцатая. Начало конца

Уже в январе 1913 года Эрнест видел, куда ведет ход истории, но он был не в силах открыть своим соратникам глаза на ту опасность, которая рисовалась ему грозным призраком Железной пяты. Ничто не могло поколебать их благодушного спокойствия. События развивались слишком стремительно, — они не поспевали за ними.

Все в мире перевернулось. Американские олигархи почти единовластно хозяйничали на мировом рынке, вытеснив оттуда десятки стран, которые теперь не знали, как распорядиться своими товарными излишками. Этим странам оставалось одно — в корне перестроить свое хозяйство. Система производства излишков завела их в тупик. Капиталистический способ производства, по крайней мере на их опыте, обнаружил свою полную несостоятельность.

Перестройка в этих странах вылилась в революцию. Повсюду царили хаос и насилие. Рушились правительства, низвергались вековые устои. Капиталисты, за исключением двух-трех стран, оказывали повсюду отчаянное сопротивление, но воинствующий пролетариат отнял у них власть. Наконец-то сбылось гениальное предсказание Карла Маркса: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». А по мере низвержения капиталистических правительств на их месте возникали правительства народного сотрудничества.

«Почему отстают Соединенные Штаты?», «Пошевеливайтесь, американские революционеры!», «Что такое с Америкой?» — спрашивали наши товарищи в тех странах, где революция победила. Но мы безнадежно плелись в хвосте. Олигархия давила на нас. Она, подобно гигантскому чудовищу, всей своей тяжестью преграждала нам путь.

— Погодите, вот весной займем свои места в правительстве, — отвечали мы. — Тогда увидите.

Дело в том, что у нас был свой секрет: нам удалось договориться с фермерской партией. В результате прошедших выборов фермерам предстояло этой весной получить руководящие посты в двенадцати штатах, а это значило, что в двенадцати штатах придут к власти правительства народного сотрудничества. Остальное нам представлялось уже сравнительно легким.

— А что если ваших фермеров спустят с лестницы? — спрашивал Эрнест, но товарищи называли его маловером и нытиком.

Эрнеста беспокоили не только возможные неудачи фермеров. Он боялся измены со стороны ведущих профсоюзов и возникновения замкнутых каст среди рабочих.

— Гент научил олигархов, как это делается, — говорил Эрнест. — Не сомневаюсь, что они составили себе памятку по его книге «Благодетельный феодализм» [87].

Никогда не забуду я вечер, когда Эрнест, в пылу спора с несколькими профсоюзными вожаками, повернулся ко мне и сказал вполголоса:

— Ну, значит, пиши пропало! Железная пята победила. Дело идет к развязке.

Это небольшое собрание у нас дома не носило официального характера. Эрнесту и его товарищам важно было удостовериться, призовут ли рабочие лидеры свои массы к всеобщей забастовке, если снова появится необходимость. О'Коннор, председатель союза механиков, первым забил отбой.

— Мало, что ли, вас колотили? — спрашивал Эрнест. — Или вам еще не надоела ваша тактика экономических стачек и бойкотов?

Его собеседники молчаливо кивнули в знак согласия.

— Ведь вы видели, чего можно добиться всеобщей стачкой, — продолжал Эрнест. — Разве мы не сорвали войну с Германией? Никогда еще не видел мир такой демонстрации солидарности и могущества рабочих. Пролетариат может править миром — и он будет им править! Вместе с вами мы положим конец владычеству капитализма. Это ваша единственная надежда, и вы сами это знаете. У рабочих нет и не может быть другого пути. Как вы там ни вертитесь, а ваша старая тактика обрекает вас на поражение, хотя бы уже потому, что суд в руках у капиталистов[88].

— Не горячись, — отвечал ему О'Коннор. — Свет не клином сошелся. Есть и другие пути. Мы знаем, что делаем. Забастовками мы и сами сыты по горло. Нас так исколошматили, что живого места не осталось. Но я думаю, что нам уже больше не придется призывать своих людей к забастовке.

— Какой же это у вас новый путь? — спросил его Эрнест в упор.

О'Коннор рассмеялся и покачал головой.

— Что ж, если хочешь знать, мы это время не дремали. И сейчас не во сне разговариваем.

— Вы что же, боитесь сказать? Или стыдно стало? — спросил Эрнест с вызовом.

— А ты нас не учи. В своих делах мы сами как-нибудь разберемся, — последовал ответ.

— Дела-то у вас, видно, темные. Что-то вы все прячетесь, как я посмотрю, — сказал Эрнест с нарастающим гневом.

— Кто-кто, а уж мы не жалели ни пота своего, ни крови, — последовал ответ. — Пора нам и вздохнуть. Пора и о себе подумать.

— Если ты боишься сказать, какой у вас выискался новый путь, так я сам скажу тебе, — ответил Эрнест. Он уже не скрывал своего гнева. — Вы занялись шкурничеством. С капиталистами договариваетесь, вот вы что делаете. Вы продали интересы рабочего класса, всего рабочего класса в целом. Трусы и дезертиры, вот вы кто!

— Я тебе не обязан докладывать, — хмуро отвечал О'Коннор. — А только, думается, нам видней, что для нас хорошо, а что плохо.

— А что хорошо и что плохо для рабочего класса, на это вы плюете? Вам все равно, что вы ему

яму роете?

— Я тебе не обязан докладывать, — повторил О'Коннор. — А только ты учти, что я председатель союза механиков и что моя обязанность в первую голову заботиться об интересах тех, кто оказал мне доверие. Вот и все.

Когда наши гости ушли, Эрнест со спокойствием отчаяния нарисовал мне, как, по его мнению, развернутся дальше события.

— Наши учителя, воодушевленные надеждой, предсказывали, что настанет час, когда организованный пролетариат, изверившись в экономической борьбе, перенесет всю свою инициативу в область борьбы политической. Так оно и случилось. После того как Железная пята нанесла профсоюзам ряд тяжелых поражений, они переменили род оружия и вышли на арену политической борьбы. Но вместо того, чтобы окрылить нас надеждой, это грозит нам новыми разочарованиями. Всеобщая забастовка показала нашу силу. Для Железной пяты этот урок не прошел даром. Вот она и приняла меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось.

— Но какие меры? — спросила я.

— Очень простые. Она подкупила влиятельные профсоюзы. Следующий раз они откажутся бастовать. А это значит, что у нас больше не будет всеобщей стачки.

— Но ведь для Железной пяты это окажется слишком дорогим удовольствием. Надолго ли ее хватит?

— Им не придется подкупать все профсоюзы. Они ограничатся немногими. Вот примерно что произойдет. Сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы будет проведено у железнодорожников, механиков, токарей, литейщиков и других квалифицированных рабочих металлургической промышленности. Эти союзы будут поставлены в привилегированные условия. Стать членом такого союза будет все равно, что получить пропуск в рай.

— Как же так? — недоумевала я. — А другие профсоюзы? Ведь огромное большинство не входит в эту группу.

— Другие союзы все до одного будут стерты с лица земли. Разве ты не понимаешь? Железнодорожники, механики, токари, рабочие стальной и чугунолитейной промышленности — это те, кто в наш век машин выполняет работу первейшей важности. Заручившись их преданностью, Железная пята может не церемониться с остальными. Железо, сталь, уголь, машины и транспорт — основа промышленности.

— А горняки? — спросила я. — У нас около миллиона углекопов.

— Это неквалифицированные рабочие. С ними не станут считаться. Им снизят заработную плату и увеличат рабочий день. Они будут такими же рабами, как и все мы, но только их окончательно втопчут в грязь. Они обречены на такой же подневольный труд, как и ограбленные капиталистами фермеры. От всех союзов, не принадлежащих к избранной группе, не останется и следа, и рабочие поневоле полезут в петлю, когда их доймут нужда и голод.

А знаешь, чем займется Фарли[89] и его штрейкбрехеры? Сейчас скажу тебе. Штрейкбрехерство как профессия отомрет. Никаких стачек больше не будет, их заменят бунты рабов. Фарли со своей бандой получит повышение. Их произведут в надсмотрщики над рабами. Конечно, так именовать их никто не станет. Они будут считаться блюстителями закона —

закона о подневольном труде. Предательство влиятельных союзов далеко отбросит нас назад. Одному Богу известно, когда и где теперь можно рассчитывать на победу революции.

— А разве при таком мощном блоке, как олигархия и привилегированные союзы, можно еще рассчитывать на победу революции? — спросила я. — Что если этот блок окажется непобедимым?

Эрнест покачал головой.

— Одно из наших основных положений состоит в том, что всякое общество, разделяющееся на классы, несет в себе зачатки собственного разложения. Там, где существуют классы, неизбежно возникают привилегированные касты. Это-то и приведет Железную пяту к гибели. Сами олигархи уже представляют собой такую замкнутую касту. Но в касты превратятся в конце концов и привилегированные профсоюзы. Железная пята попытается с этим бороться, но ничего у нее не выйдет.

В избранных союзах сейчас цвет американского рабочего класса. Это энергичные, одаренные люди. Они проникли в эти союзы в результате известного отбора. Но теперь всякий американский рабочий захочет попасть в один из привилегированных союзов. Олигархия будет поощрять это стремление и поддерживать конкуренцию. Ведь таким образом сильные люди, которые могли бы стать революционерами, будут переходить на сторону олигархии, содействуя ее укреплению.

С другой стороны, члены избранных профсоюзов постараются превратить свои организации в замкнутые касты. И они преуспеют в этом. Право стать членом союза превратится в узкосемейную прерогативу. Сыновья будут наследовать отцам, прекратится приток живых сил из того неисчерпаемого резервуара, каким является простой народ. Это поведет к вырождению рабочих каст и постепенному их ослаблению. Вместе с тем как корпорация они некоторое время будут всесильны. Они станут чем-то вроде преторианцев, когда-то охранявших дворец римского императора. Затем наступит период дворцовых переворотов, когда рабочие касты будут временно приходить к власти. Олигархи ответят на это контрпереворотами, и некоторое время власть будет переходить из рук в руки. Между тем будет продолжаться вырождение каст, и в конце концов народ восторжествует.

Эту схему постепенного социального развития Эрнест набросал, находясь в крайне подавленном душевном состоянии, под впечатлением измены профсоюзов. Я никогда не была с ней согласна и в особенности не согласна теперь, когда пишу эти строки. Ведь именно сейчас, хотя Эрнеста уже нет с нами, мы стоим на пороге революции, которая покончит со всеми олигархиями в мире. Теорию Эрнеста я привожу здесь только потому, что это его теория. Не надо, однако, забывать, что сам создатель этой теории боролся против нее, как титан. Больше чем кто-либо, он содействовал подготовке той революции, которая только ждет сигнала, чтобы разразиться[90].

— Но если олигархия еще долго просуществует, — спросила я Эрнеста в тот вечер, — что станет она делать с огромными прибылями, которые будут плыть в ее карманы?

— Они не залежатся, — отвечал Эрнест. — Не беспокойся, олигархи найдут им применение. Будут сооружены великолепные дороги. Начнется небывалый расцвет наук и искусств. Когда олигархи приведут народ к полному послушанию, у них появятся и другие цели и интересы. Они станут покровителями искусств, поклонниками красоты. Деньги потекут рекой, и художники будут трудиться, поощряемые столь щедрым вниманием. Возникнут великие творения, так как искусство не будет больше стеснено мещанскими вкусами буржуа.

Повторяю, родится монументальное искусство. Будут построены чудо-города, по сравнению с которыми наше современное градостроительство покажется жалким и безвкусным. И в этих городах будут жить олигархи и поклоняться красоте[91].

Таким образом, прибылям олигархов будет найдено применение, тогда как вся черная работа падет на плечи рабочих. Строительство грандиозных городов и сооружений даст нищенское пропитание миллионам чернорабочих и строителей. Чудовищные прибыли потребуют чудовищных вкладов и затрат, и сооружения олигархов будут рассчитаны на тысячелетия, а может быть, и на десятки тысяч лет. Их будут строить так, как древнему Вавилону и Египту и не снилось, а когда олигархи падут, их великолепные сооружения достанутся братству труда, и народ будет пользоваться их дорогами и селиться в их городах[92].

Вот какие дела предстоят олигархам. Грандиозное строительство станет для них одним из видов помещения прибылей; точно так же правящие классы Египта вкладывали богатства, награбленные у трудового народа, в строительство храмов и пирамид. Но благоденствовать при олигархах будут не жрецы, а художники, тогда как место привилегированного торгового сословия займут рабочие касты. А под их ногами, в черной ямине, будет копошиться, голодать и гнить заживо, неизменно возрождаясь к новой жизни, трудовой народ, огромное большинство населения. Но настанет некий еще скрытый от нас день, и народ выйдет из черной ямины. Рабочие касты и олигархия падут. И тогда наконец после многовековой борьбы придет день простого человека. Я мечтал увидеть его, но теперь знаю, что не увижу.

Эрнест остановился, посмотрел на меня и прибавил:

— Социальное развитие — это убийственно затяжной процесс. Не правда ли, дружок?

Я обняла Эрнеста, прижала его голову к своей груди.

— Спой мне песню, родная, — попросил он по-детски жалобно. — Мне приснился дурной сон, и я хочу забыть его.

Глава пятнадцатая. Последние дни

К концу января 1913 года сведения о новой политике олигархов в отношении ведущих профсоюзов просочились в печать. Газеты сообщали о неслыханном повышении заработной платы и сокращении рабочего дня для определенной категории рабочих стальной и чугунолитейной промышленности, для железнодорожников, механиков, токарей и так далее. Однако всей правды олигархи не решались открыть. На самом деле заработная плата поднялась еще больше, а соответственно возросли и другие привилегии. Но шила в мешке не утаишь. Счастливчики рассказали о своей удаче женам, те разнесли эту весть по знакомым, и вскоре о совершившемся предательстве узнал весь рабочий мир.

Новый маневр олигархов логически вытекал из той практики, которая в XIX веке получила название «участия в грабеже». В нескончаемых промышленных войнах того времени капиталисты пытались умиротворить рабочих, заинтересовав их в своих прибылях. Но превращать это в систему было бы чистейшим абсурдом и не достигало бы цели. В условиях ожесточенной экономической борьбы участие рабочих в прибылях оправдывало себя лишь применительно к отдельным случаям. Распространение этой льготы на всех не давало бы капиталистам никаких преимуществ.

Впоследствии из не оправдавшей себя системы участия в прибылях возникла система «участия в грабеже». Привилегированные союзы выдвинули лозунг: «Платите нам больше и берите

лишнее с потребителя». Кое-где эта шкурническая система получила применение и привилась. Но брать лишнее с потребителя — значило брать лишнее в первую очередь с огромной массы неорганизованных рабочих и членов рядовых союзов, они-то и вынуждены были выплачивать прибавку своим более счастливым собратьям, членам союзов-монополистов. Эта система, повторяю, доведенная до своего логического завершения, и была применена в широком масштабе при создании блока между олигархами и привилегированными союзами[93].

Как только предательство было обнаружено, среди рабочих поднялся ропот. Вскоре отпавшие союзы заявили о своем выходе из интернациональных рабочих организаций. Тогда начались расправы и беспорядки. Месть рабочих, возмущенных подлой изменой своих бывших товарищей, настигала их в кабачках и публичных домах, на работе и дома.

Было много жертв, среди них немало убитых. Ни один член союза, предавшегося олигархам, не чувствовал себя в безопасности. Направляясь на работу и расходясь по домам, они предпочитали собираться группами и идти посередине мостовой. Смельчаку, отважившемуся пойти по тротуару, мог свалиться на голову кирпич или булыжник, брошенный из окна или с крыши. Фаворитам было разрешено носить оружие; власти всегда и во всем оказывали им содействие. Их преследователей бросали в тюрьмы, где с ними обращались, как со скотом. Никому, кроме членов привилегированных союзов, не разрешалось иметь при себе оружие, и за нарушение этого правила налагались жестокие кары.

Но гнев рабочих не утихал, расправы с предателями не прекращались. Соответственно с этим все резче обозначалось кастовое размежевание. Рабочая детвора преследовала детей из лагеря фаворитов, и тем уже нельзя было показываться на улице и посещать школу. Такому же остракизму подвергались жены и семьи предателей, и даже лавочникам, отпускавшим им провизию, объявлялся бойкот.

Преследуемые общей ненавистью, изменники и их близкие все больше замыкались в своей среде. Из рабочих кварталов, где жизнь становилась для них невыносимой, они переселялись в новые отведенные им районы. Олигархи всячески шли навстречу своим фаворитам. Для них были выстроены новые дома со светлыми и удобными квартирами и просторными дворами, для них разбивались парки и скверы, устраивались спортивные площадки. Дети их посещали особые школы, где большое внимание уделялось технике и ручному труду. Так, на основе внутреннего расслоения пролетариата, вырастала кастовая обособленность. Члены привилегированных союзов становились рабочей аристократией. Теперь они решительно во всем отличались от пролетарских масс. Они жили в благоустроенных домах, хорошо одевались и питались, с ними и разговаривали по-иному. Словом, предательство их было вознаграждено с лихвой.

Зато остальным рабочим жилось все хуже. Их заработок падал, жизненный уровень снижался: постепенно, одно за другим теряли они свои исконные мелкие права. Их школы пустели. Обязательное обучение было постепенно отменено, и число неграмотных увеличивалось с ужасающей быстротой.

Захват американцами внешних рынков привел в смятение весь остальной мир. Повсюду низвергались правительства, рушились старые устои и общество перестраивалось. В Германии, Италии и Франции, в Австралии и Новой Зеландии были созданы правительства народного сотрудничества. Британская империя распадалась; у английского правительства было хлопот по горло — поднялись народы Индии. В Азии раздавался клич: «Азия для азиатов!» Этот лозунг был выкинут Японией, натравливавшей желтокожие и темнокожие народы на белую расу. Стремясь к владычеству на континенте, Япония подавила у себя пролетарскую революцию. В стране шла открытая война классов — кули против самураев, и социалистов-кули

казнили десятками тысяч. В одном только Токио было сорок тысяч убитых; люди гибли в уличных боях. Особенно больших жертв стоил неудавшийся штурм дворца микадо. В Кобе была организована бойня, восставших ткачей косили пулеметами; эта расправа получила печальную известность как классический пример массового истребления мирных жителей силой оружия. В результате гражданской войны в Японии утвердилась олигархия, правившая с неслыханной жестокостью. Японцы подчинили себе Восток и завладели всеми восточными рынками, за исключением одной только Индии.

Англии удалось подавить у себя пролетарскую революцию и удержать под своим скипетром народы Индии. Но это потребовало всех ее сил, и ей пришлось распроститься с остальными заморскими владениями. В Австралии и Новой Зеландии социалистами были созданы правительства народного сотрудничества. Отделилась и Канада, но здесь социалистическая революция была раздавлена при содействии Железной пяты. Точно так же и в Мексике и на Кубе Железная пята помогла раздавить восстание. Таким образом, Железная пята утвердилась в Америке, спаяв в единое целое всю северную ее половину, от Панамского канала до Ледовитого океана.

Как уже сказано, Англии — ценой потери всех колоний — удалось удержать Индию. Но это было лишь временной отсрочкой. Борьба Японии и всей Азии за Индию только откладывалась на неопределенный срок. Англии предстояло вскоре потерять Индию, а в перспективе вставала война между объединившейся Азией и остальным миром.

В то время как весь земной шар сотрясали войны и революции, мы в Соединенных Штатах тоже не знали спокойствия и мира. Измена ведущих профсоюзов парализовала нашу, пролетарскую, революцию, но повсюду происходили мятежи и беспорядки. К рабочим волнениям, к ропоту фермеров и доживавших свой век остатков среднего класса присоединилось вспыхнувшее с необычайной силой религиозное движение, причем на первый план выдвинулась одна из сект «Адвентистов седьмого дня», предсказывавшая близкий конец мира.

— Черт бы побрал всю эту кутерьму! — негодовал Эрнест. — Какая может быть солидарность при всем этом разладе и разброде!

И действительно, религиозный фанатизм получил небывалое распространение. Измученные, затравленные люди, изверившиеся в целях земного существования, мечтали о небесах, куда капиталистическим тиранам было бы так же трудно попасть, как верблюду пролезть в игольное ушко. Бродячие проповедники с глубоко запавшими горящими глазами наводнили всю страну. Их проповеди под открытым небом, привлекавшие толпы слушателей, раздували религиозное безумие, и никакие запрещения и кары не в силах были потушить этот пожар.

Наступают последние дни мира, утверждали они, начало конца. Четыре апокалиптических ветра ниспосланы на землю. Господь посеял вражду между народами. То была пора видений и чудес, повсюду появлялись провидцы и прорицательницы. Сотни тысяч людей бросали работу и бежали в горы, чтобы там дождаться второго пришествия, когда сто сорок четыре тысячи праведников будут вознесены на небеса. Но господь мешкал, а между тем тысячи людей умирали с голоду. С отчаяния многие принялись шарить по окрестным фермам; анархия и беспорядок, охватившие всю страну, еще усиливали бедствия обездоленных фермеров.

Однако фермы и житницы принадлежали Железной пяте. Целые армии были двинуты против фанатиков, и солдаты штыками загоняли беглецов обратно в город, возвращая их к обычным занятиям. Но там они присоединялись к то и дело вспыхивавшим бунтам и восстаниям. Вожаков казнили и сажали в сумасшедший дом, но на казнь они шли, как на праздник. Это

была пора всеобщего безумия. Эпидемия распространялась с быстротой пожара. На болотах, в пустынях, на затерянных пустошах от Флориды до Аляски уцелевшие еще кое-где племена индейцев предавались ночным бдениям и магическим пляскам в ожидании пришествия своего собственного мессии.

И над всем этим смятением с ужасающей уверенностью и спокойствием царила олигархия, железною пятою она растоптала бунтарей, железною рукою взнуздала восставшие многомиллионные массы, из хаоса сотворила порядок и воздвигла свою собственную твердыню, в самом хаосе почерпнув ее основу и строй.

— Погодите, вот мы придем к власти, — говорили наши фермеры, Кэлвин говорил это у нас на Пелл-стрит. — Посмотрите, в скольких штатах мы получили большинство! Если вы, социалисты, поддержите нас, мы призовем эту публику к порядку.

— Миллионы недовольных, обездоленных людей идут к нам, — говорили социалисты. — С нами теперь и фермеры, и средний класс, и сельскохозяйственные рабочие. Последний час капитализма пробил. Еще месяц — и пятьдесят наших представителей войдут в конгресс, а через два года в наших руках будут все административные посты, от президента до городского собачника.

Эрнест слушал все это и качал головой.

— Скажите лучше, — говорил он, — много ли у вас винтовок? И как вы обеспечите себя патронами? Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических. Они надежнее.

Глава шестнадцатая. Конец

Когда нам с Эрнестом пришла пора отправляться в Вашингтон, папа отказался ехать, так увлекло его изучение жизни пролетариата. Наши трущобы представлялись ему огромной лабораторией, и он с головой ушел в исследование, которому, казалось, не предвиделось конца. Он нашел себе друзей среди простых рабочих и был вхож во многие дома, да и сам охотно брался за случайную работу, поскольку она служила ему забавой и расширяла круг его наблюдений, и в эти дни возвращался домой особенно оживленный, с целым ворохом записей и смешных рассказов. Это был ученый в подлинном смысле слова.

Папины трудовые подвиги были чистейшим любительством, так как заработка Эрнеста хватало на всю нашу небольшую семью. Но невозможно было отговорить его от этой увлекательной игры, которая, кстати сказать, была игрой со многими переодеваниями, смотря по тому, за какую работу он брался. Никогда не забуду, как он явился домой, нагруженный лотком с богатейшим ассортиментом помочей, шнурков для ботинок, или же, как в бакалейной лавке, куда я зашла за покупками, он предстал передо мной в роли приказчика, отпускавшего товар. После этого я уже не удивлялась, когда он целую неделю заменял буфетчика в соседней пивной. Он работал ночным сторожем, продавал с лотка картошку, наклеивал ярлыки на консервном складе, был на посылках при картонажной фабрике, носил воду рабочим, прокладывавшим трамвайную линию, и даже записался в союз судомоев незадолго до его роспуска.

Очевидно, костюм епископа произвел на папу неотразимое впечатление, потому что он приобрел себе точно такую же рубашку поденщика и комбинезон, перехваченный у пояса ремешком. Но одному обычаю папа все же остался верен: он всегда переодевался к обеду, или, как это у нас теперь называлось, к ужину.

С Эрнестом я нашла бы счастье повсюду; и то, что папа радовался изменению наших жизненных обстоятельств, довершало мое счастье.

— Я еще мальчишкой был ужасно любопытен, — говаривал он. — Все мне хотелось знать, отчего да почему. Недаром я стал физиком. И до сих пор во мне живет это неугомонное любопытство, а ведь в любопытстве-то главная прелесть жизни.

Иногда он отваживался на вылазки в ту часть города, где находились театры и дорогие магазины. Здесь он продавал газеты, бегал с поручениями, как рассыльный, отворял дверцы экипажей. И вот однажды, захлопнув дверцы отъезжавшей кареты, он увидел в ней мистера Уиксона. Папа с наслаждением описал нам эту сцену.

— Уиксон вытаращил на меня глаза и только и сказал: «Какого черта!» Представляете? «Какого черта!» Покраснел до ушей и так растерялся, что забыл сунуть мне чаевые. Но, по-видимому, тут же опомнился, потому что, как только его карета отъехала шагов на пятьдесят, смотрю, опять ко мне заворачивает. Уиксон высунулся в окошко.

«Послушайте, профессор, — крикнул он. — Это, знаете ли, уж слишком. Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?»

«Я захлопнул дверцу вашей кареты, — сказал я. — С вас полагается десять центов».

«Бросьте дурака валять! Я в самом деле хотел бы вам помочь».

Он сказал это вполне серьезно, — очевидно, в нем заговорила его атрофированная совесть. Я сделал вид, что размышляю.

«Пожалуй, вы могли бы вернуть мне мой дом, — предложил я. — А заодно и сьеррские акции».

Папа остановился.

— Ну и что же он? — не вытерпела я. — Что он тебе сказал?

— Что он мог сказать? Ничего, разумеется. Зато я сказал ему: «Ну, Уиксон, как ваше драгоценное?» Он как-то странно посмотрел на меня. А я повторил: «Хорошо вы себя чувствуете?»

Тут он приказал кучеру гнать во всю прыть и уехал, ругаясь на чем свет стоит. И мои десять центов не отдал мне, какой уж там дом и акции! Так что видишь, дорогая, карьера уличного попрошайки чревата немалыми разочарованиями.

Так папа и остался жить в нашей квартире на Пелл-стрит, когда мы с Эрнестом переехали в Вашингтон. Старая жизнь кончилась, и, как вскоре выяснилось, кончилась бесповоротно.

Вопреки нашим ожиданиям, никто не помешал социалистам занять свои места в конгрессе. Все сошло благополучно. И я подсмеивалась над Эрнестом, которому даже и это благополучие внушало опасения.

Наши товарищи социалисты были преисполнены надежд. Они верили в свои силы и в предстоявшее им дело. Несколько депутатов от фермерской партии примкнули к нам, и мы выработали общую программу действий. Во всем этом Эрнест принимал самое деятельное участие и только нет-нет да и повторит, как будто некстати, свою излюбленную фразу: «Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических. Они

надежнее...»

Началось с затруднений у фермерской партии, которая в результате последних выборов завоевала руководящие посты в двенадцати штатах. Представителей ее не допустили к исполнению своих обязанностей. Отставленные администраторы просто-напросто отказались сдавать дела. Они обжаловали выборы, и пошла обычная волокита. Фермерская партия была бессильна что-либо сделать. Последней инстанцией был суд, а в суде командовали ее враги.

Положение было критическое. Стоило нашим обманутым союзникам забить тревогу, как в стране начался бы переполох и на всех наших завоеваниях можно было бы поставить крест. Мы, социалисты, сдерживали их изо всех сил. Эрнест сутками не ложился. Руководители фермерской партии видели опасность и были всецело с нами. Но ничто не помогло. Олигархии нужны были беспорядки, и она прибегла к услугам провокаторов. Теперь можно считать установленным, что так называемое Крестьянское восстание было грандиозной провокацией.

Восстание вспыхнуло в двенадцати штатах, и власть там захватили экспроприированные фермеры. Разумеется, это было противозаконно, и правительство двинуло на мятежников войска. Повсюду шныряли провокаторы, вызывая народ на эксцессы. Агенты Железной пяты скрывались под маской фермеров, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. В столице Калифорнии, Сакраменто, фермерской партии удалось сохранить порядок. И вот тысячи тайных агентов были направлены в этот город. Шатаясь по улицам толпами, они палили в окна и грабили магазины и фабрики, втягивая в свои бесчинства городскую чернь, которую усиленно спаивали. Когда же все было подготовлено, в город нагрянули правительственные войска, вернее — войска Железной пяты, и началась кровавая расправа. На улицах Сакраменто и в домах было перебито одиннадцать тысяч жителей. Власть в штате захватило федеральное правительство, и судьба Калифорнии была решена.

То же самое повторилось в каждом из двадцати штатов, отдавших голоса фермерской партии. Повсюду свирепствовало насилие, и кровь лилась рекой. Сначала тайными агентами и черными сотнями провоцировались беспорядки, а затем появлялись войска. По всей сельской Америке буйствовали и бесчинствовали толпы громил. Над горящими городами и селами, над усадьбами и амбарами день и ночь стояли столбы дыма. В ход пошел и динамит. Какие-то неизвестные взрывали железнодорожные туннели и мосты и пускали под откос поезда. Фермеров вешали и расстреливали без числа. Народ восставал против своих мучителей, и множество офицеров и плутократов пало жертвой террористических актов. Злоба и ненависть владели людьми. Солдаты расправлялись с фермерами, словно с враждебными индейскими племенами, — и недаром в штате Орегон две тысячи восемьсот солдат были уничтожены взрывами страшной силы, следовавшими один за другим. Многие погибали в железнодорожных катастрофах. Солдаты в не меньшей мере, чем фермеры, дрались за свою жизнь.

Что касается национальной гвардии, то был приведен в действие закон 1903 года, и рабочие одного штата должны были под страхом смерти стрелять в рабочих другого штата, своих товарищей. Закон этот на первых порах вызвал сопротивление. Немало офицеров национальной гвардии было убито из-за угла, немало рядовых подверглось расстрелу по приговору военно-полевых судов. То, что в свое время предсказывал Эрнест, нашло разительное подтверждение в судьбе мистеров Асмунсена и Коуолта. Оба они были призваны в национальную гвардию и направлены с карательным отрядом из Калифорнии в штат Миссури. Мистер Асмунсен и мистер Коуолт отказались выполнить распоряжение командования. Расправа с ними была короткая. Военно-полевой суд приговорил смельчаков к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение солдатами, которые стреляли им в спину.

Немало молодых людей бежало от мобилизации в горы. Их объявили вне закона, но особенно не тревожили до тех пор, пока в стране не наступило сравнительное успокоение. Но тут были приняты крутые меры. Правительство обратилось к беглецам с предложением явиться с повинной, для чего был дан трехмесячный срок. По истечении этого срока в горные округа было направлено до полумиллиона солдат с приказом выловить дезертиров. Расправлялись без суда и следствия, пристреливая людей на месте. Каратели действовали согласно инструкции, по которой все скрывавшиеся в горах считались злостными дезертирами, и всякий был волен в их жизни и смерти. Кое-где в защищенных местах отдельные отряды мужественно сопротивлялись, но в конце концов их выловили всех до единого и предали смерти.

Еще более внушительный урок был дан населению на примере расправы с канзасской национальной гвардией. Великое Канзасское восстание вспыхнуло в самом начале военного похода против фермеров. Взбунтовалось шесть тысяч национальных гвардейцев. Частям этим не доверяли и, ввиду царившей в них угрюмой озлобленности, держали их на лагерном положении. К открытому мятежу они перешли, разумеется, не без пособничества провокаторов.

В ночь на 22 апреля гвардейцы восстали и перебили своих офицеров, только немногим удалось скрыться. Убийство командного состава, разумеется, не входило в планы Железной пяты, — агенты на сей раз перестарались. Однако Железной пяте и это пошло на пользу. К репрессиям подготовились заранее, а убийство офицеров давало достаточный для них повод. Сорок тысяч солдат внезапно окружили мятежников. Злополучные гвардейцы попали в ловушку. Слишком поздно хватились они, что из их пулеметов вынуты замки, а патроны не подходят к винтовкам. Они выкинули белый флаг, но никто не обратил на это внимания. Враг не знал пощады. Все шесть тысяч человек полегли на месте. Сначала по ним били гранатами и шрапнелью, а затем, когда отчаяние подняло их в атаку, косили пулеметным огнем. По словам очевидцев, ни один гвардеец не успел подбежать к неприятельским цепям ближе, чем на полтораста метров. Земля была усеяна трупами. Заключительная атака кавалеристов добила раненых, а тех, кого не прикончила сабля или пуля, растоптали конские копыта.

Не успело закончиться усмирение фермеров, как восстали горняки. Это была последняя вспышка борьбы организованного пролетариата. Всего бастовало семьсот пятьдесят тысяч углекопов, но силы их были распылены по всей стране. Каждый угольный округ был оцеплен правительственными войсками, и с каждым расправлялись в отдельности. Это была первая грандиозная облава на невольников, и Покок[94] стяжал себе на этом деле славу укротителя рабов и вечную ненависть пролетариата. На него неоднократно производились покушения, но, казалось, он был заколдован. Это он ввел для горняков паспортную систему, наподобие той, какая существовала в царской России, и по его инициативе им было запрещено свободно передвигаться по стране.

Социалисты держались крепко. В то время как партия фермеров погибала в огне и крови, а профсоюзы разгонялись, социалисты воздерживались от всяких выступлений и готовились к уходу в подполье. Напрасно наши друзья из фермерской партии взывали к нам. Мы правильно возражали им, что всякое наше вмешательство грозило бы гибелью делу революции. Железная пята, не решавшаяся сперва выступить против всего пролетариата в целом, теперь, приободренная легкой победой, только и мечтала свернуть нам шею. Но мы сохраняли полное самообладание, несмотря на усилия провокаторов, которыми кишели наши ряды. В те времена агенты Железной пяты действовали неумело — им еще только предстояло пройти серьезную школу, — и наши боевые группы вылавливали их одного за другим. Это была тягостная, грязная работа, но мы боролись за жизнь и за революцию, и нам приходилось сражаться с врагом его же оружием. Все же мы придерживались справедливости. Ни один агент Железной

пяты не был казнен без суда и следствия. Если и случались ошибки, то лишь как исключение. В боевые группы шли самые храбрые, самые энергичные и преданные революции товарищи. Спустя десять лет, на основании сведений, сообщенных ему начальниками боевых групп, Эрнест занялся статистикой. Оказалось, что вступавшие туда мужчины и женщины могли рассчитывать в среднем не больше чем на пять лет жизни. Это были герои. Принципиальные противники убийства, они шли на убийство, стиснув зубы, считая, что великое дело свободы требует великих жертв[95].

Мы ставили себе тройную задачу: во-первых, вылавливание подосланных к нам агентов олигархии; во-вторых, организацию боевых групп и всего революционного подполья; в-третьих, засылку наших агентов во все организации олигархии, а также в армию и рабочие касты. Они проникали туда под видом секретарей и конторщиков, телеграфистов, надсмотрщиков над рабочими и провокаторов. Это была работа, требовавшая времени и сопряженная с величайшей опасностью. Все наши усилия зачастую приводили только к неудачам и тяжелым потерям...

Железная пята победила в открытой войне. Но мы объявили ей другую, еще неведомую, странную и страшную подпольную войну. Мы воевали в потемках, наугад, слепые со слепыми, — однако в этой борьбе был свой порядок, дисциплина, единодушие. Наши агенты проникали во все организации Железной пяты, а в наших организациях гнездились ее агенты. Это была война втемную, коварная и увертливая, обе стороны изощрялись в интригах и конспирации, заговорах и контрзаговорах. А за всем этим постоянной угрозой маячила смерть, жестокая, насильственная смерть. Мужчины и женщины, наши лучшие, любимейшие товарищи, исчезали без следа. Сегодня мы еще видели друзей в своих рядах, а завтра уже не досчитывались их и знали, что это — навсегда, что они сложили голову в борьбе.

Никому нельзя было довериться, ни на кого нельзя было положиться. Человек, который работал рядом с вами, был, возможно, агентом Железной пяты. Мы минировали ее организации своими агентами, а она своими контрминировала наши организации. И хотя мы не имели права кому-либо довериться или на кого-нибудь положиться, каждый шаг поневоле основывался на доверии. То и дело мы сталкивались с изменой. Были среди нас и слабые люди. Железная пята располагала приманками в виде денег, праздности и удовольствий, которые ждали предателей в чудо-городах. Нашей же единственной наградой было чувство удовлетворения от сознания исполненного долга. В остальном воздаянием за верность была вечная опасность, нескончаемые муки и смерть.

Повторяю, попадались среди нас и слабые люди. И за слабость мы могли отплатить им только смертью. Необходимость заставляла нас карать предателей. По следам каждого обнаруженного изменника мы немедленно направляли от одного до десяти мстителей. Иногда нам не удавалось привести в исполнение приговор над врагом, как это было, например, с Пококами; но в наказании предателей мы не имели права на неудачу. Товарищи по нашему решению под видом перебежчиков проникали в чудо-города и там приводили приговор в исполнение. В конце концов мы стали для предателей такой грозой, что безопаснее было верно служить нам, чем изменять.

Революция приобрела характер религиозного движения. Мы приносили жертвы на алтарь революции, на алтарь свободы. Нас сжигал ее божественный огонь. Мужчины и женщины отдавали жизни Великому Делу, и новорожденные младенцы посвящались ему, как некогда посвящались Богу. Мы поклонялись Человечеству.

Глава семнадцатая. Ливрейные лакеи

После усмирения фермеров их представителей больше не видели в конгрессе. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене, и места их заняли ставленники Железной пяты. Социалисты оказались теперь в ничтожном меньшинстве; каждый из них понимал, что конец близок. Заседания сената и палаты превратились в фарс, в пустую проформу. Там все еще обсуждались и решались какие-то вопросы, но теперь это нужно было только для того, чтобы придать мандатам олигархов некую видимость законности.

Эрнест оказался в самой гуще борьбы, когда настал неизбежный конец. В конгрессе обсуждался законопроект о помощи безработным. Кризис прошлого года снизил жизненный уровень пролетарских масс до голодного существования, а охватившие страну неурядицы довершили дело. Миллионы людей нуждались в хлебе, между тем как олигархи и их приспешники не знали, куда девать свои несметные богатства[96]. Для облегчения участи этих бедняков, которых мы называли «обитателями бездны» [97], социалисты внесли в конгресс законопроект о безработных. Естественно, это не нравилось Железной пяте. Она собиралась на свой лад использовать труд голодных миллионов, и участь нашего проекта была предрешена. Эрнест и его товарищи понимали, что хлопочут напрасно, однако их томила неопределенность положения. Они хотели, чтобы кончилось наконец это напряженное ожидание, и, не видя в своей деятельности никакого проку, считали, что лучше разделаться с постыдным фарсом, в котором им приходилось быть невольными участниками. Никто из них не представлял себе, каков будет конец, — во всяком случае, он превзошел самые худшие их опасения.

В тот день я сидела на галерее, в местах для публики. Все мы были охвачены ожиданием чего-то ужасного. Угроза носилась в воздухе, мы видели ее воплощение в шеренгах солдат, заполнявших коридоры, и в офицерах, кучками толпившихся у всех выходов. По всему чувствовалось, что олигархи готовят удар. Трибуну занимал Эрнест. Он говорил об ужасах безработицы с таким жаром, как будто и вправду был одержим безумной надеждой тронуть сердца своих слушателей. Но республиканцы и демократы только издевались над ним. В зале стоял невообразимый шум.

Внезапно Эрнест переменил тон и перешел в открытое наступление.

— Я знаю, что не в силах убедить вас, — сказал он. — Убедить можно только того, у кого есть ум и сердце, но не вас, бесхребетная, бездушная слякоть! Вы преважно именуете себя демократами и республиканцами. Ложь все это! Нет никаких демократов и нет никаких республиканцев, и прежде всего их нет в этом зале. Вы блюдолизы и сводники, холопы плутократии! Бия себя в грудь, вы разглагольствуете о свободе. Но кто же не видит на ваших плечах багряной ливреи Железной пяты?

В зале поднялись крики: «Долой!», «К порядку!», и голос Эрнеста потонул в общем реве. Он с презрительной усмешкой ждал, пока шум немного утихнет, потом повел рукой на сидевших в зале и, повернувшись к своим товарищам, сказал:

— Послушайте, как лают эти раскормленные псы!

В зале снова воцарился ад. Председатель изо всех сил стучал молотком, вопросительно посматривая на офицеров в проходах. Отовсюду неслись крики: «Измена!», а дюжий бочкообразный депутат от Нью-Йорка, повернувшись к трибуне, орал во всю глотку: «Анархист!» На Эрнеста страшно было смотреть. Каждый его мускул был напряжен, глаза налились кровью. И все же он владел собой и ничем не выдавал душившего его бешенства.

— Помните! — крикнул он громовым голосом, перекрывшим шум в зале. — Как вы теперь расправляетесь с пролетариатом, так он когда-нибудь расправится с вами.

Возгласы «Измена!» и «Анархист!» усилились.

— Я знаю, вы собираетесь провалить наш законопроект, — продолжал Эрнест. — Вам приказано его провалить. А вы еще меня зовете анархистом! Вы, отнявшие власть у народа, вы, бесстыдно щеголяющие в лакейской ливрее, зовете меня анархистом! Я не верю в вечный огонь и кипящую серу преисподней, но иногда я готов пожалеть о своем неверии. В такие минуты, как сейчас, я готов в них верить. Ад должен существовать, потому что ни в каком другом месте вам не воздастся в полной мере за ваши преступления. Нет, пока такие, как вы, не перевелись на свете, вселенной, видимо, не обойтись без адского огня.

У входа возникло какое-то движение. Эрнест, председатель и все депутаты повернули голову к дверям.

— Господин председатель, что же вы не зовете ваших солдат? — спросил Эрнест. — Они здесь и только ждут сигнала, чтобы привести в исполнение ваши тайные замыслы.

— Меня больше беспокоят другие тайные замыслы, — отвечал председатель. — И солдаты здесь для того, чтобы помешать им.

— Это уж не наши ли козни вы имеете в виду? — издевался Эрнест. — Бомбы или что-нибудь в этом роде?

При слове «бомбы» атмосфера в зале снова накалилась. Эрнест не мог перекричать весь этот шум и стоял, выжидая. И тут произошло нечто неожиданное. Со своего места на галерее я заметила только вспышку огня. Затем меня оглушил взрыв, и сквозь завесу дыма я увидела, как Эрнест покачнулся и как по всем проходам к трибуне ринулись солдаты. Наши товарищи повскакали с мест, не владея собой от возмущения. Но Эрнест, сделав над собой величайшее усилие, остановил их движением руки.

— Это провокация! — загремел он. — Спокойствие, вы только себя погубите!

Он медленно опустился на пол, и подоспевшие солдаты окружили его стеной. Другие солдаты очищали галерею от публики. Поневоле пришлось уйти и мне, и больше я ничего не видела.

Я объявила, что я жена Эрнеста, в надежде, что буду к нему допущена, но вместо этого меня арестовали. Одновременно был произведен арест всех социалистических депутатов, включая и беднягу Симпсона, он заболел тифом и лежал у себя в гостинице.

Суд не стал с нами долго возиться. Все приговоры были предрешены заранее. Удивительно, что Эрнесту сохранили жизнь. Это была величайшая ошибка олигархии, и она ей дорого стала. Сказывалось опьянение собственными успехами, в котором пребывали победители. Им и в голову не приходило, что эта горсточка героев способна потрясти их власть до самого основания. Завтра, когда начнется великая революция и весь мир услышит мерный шаг восставших миллионов, олигархия с удивлением увидит, в какую могучую силу превратился скромный отряд героев[98].

Как член революционной организации, посвященный во все ее тайные планы и деливший с ней горе и радость, я принадлежу к тем немногим, кто более других может судить, были ли наши депутаты причастны к взрыву в конгрессе. Могу сказать без малейших колебаний, что никто из социалистов, как бывших в этот день в конгрессе, так и не бывших там, не имел к этому делу

никакого касательства. Мы не знаем, кто бросил бомбу, но знаем достаточно достоверно, что это сделали не мы.

С другой стороны, много данных за то, что взрыв был устроен по велению свыше. Пусть это всего лишь предположение, но вот какие серьезнейшие доводы говорят в его пользу. Председатель конгресса был извещен тайной полицией, что депутаты-социалисты собираются перейти к террористическим методам борьбы. Назначен будто бы даже день — тот самый, когда и произошел взрыв. Поэтому в Капитолий были заранее введены войска. Но поскольку мы ничего не знали о предполагающемся взрыве, а власти знали и заблаговременно к нему готовились, и взрыв действительно произошел, естественно заключить, что Железная пята была обо всем осведомлена. Более того, мы, социалисты, утверждаем, что преступление это и совершено было Железной пятой, — она задумала его и привела в исполнение, чтобы потом возложить вину на нас и таким образом способствовать нашей гибели.

Через председателя палаты весть о готовящемся террористическом акте достигла его коллег, холопов, облаченных в багряную ливрею. Во время выступления Эрнеста все они только и ждали, когда это произойдет. Надо отдать им справедливость, они и в самом деле верили, что социалисты что-то готовят. На процессе многие искренне утверждали, что видели в руках у Эрнеста бомбу и что она преждевременно разорвалась. Разумеется, ничего подобного они не видели, и картину эту нарисовало им разгоряченное воображение.

На суде Эрнест сказал:

— Неужели вы не понимаете, что если бы мне понадобилось бросить бомбу, я не удовлетворился бы какой-то хлопушкой. Ведь в ней и пороху-то почти не было. Только что надымила, а ранила одного меня. Посудите сами, что это за бомба, если, разорвавшись у моих ног, она даже меня не убила. Поверьте, если я начну швырять бомбы, это вам дешево не пройдет. Вы не отделаетесь испугом.

Обвинение, со своей стороны, утверждало, что социалисты просчитались: слабое действие бомбы было для них так же неожиданно, как и преждевременный взрыв, вызванный растерянностью Эрнеста. Последнее, кстати, совпало с показаниями свидетелей, будто бы видевших бомбу в руках Эрнеста.

Никто из нас не знал, кто бросил бомбу. Эрнест впоследствии рассказывал мне, что за какую-то долю секунды до взрыва он видел и слышал, как бомба ударилась у его ног. То же самое он говорил на суде, но ему, конечно, не поверили. Весь этот инцидент, попросту говоря, «состряпала» Железная пята, желая с нами разделаться, и бороться с ее тайными замыслами было бесполезно.

По известному речению, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Данный случай это опровергает. Прошло девятнадцать лет, а мы, несмотря на все наши старания, так и не обнаружили человека, бросившего в Капитолии бомбу. Это, несомненно, был пособник Железной пяты, но так тщательно законспирированный, что ни один из наших агентов ни разу не наткнулся на его след. И теперь, когда все сроки прошли, остается лишь поставить крест на этой тайне и сдать ее в архив неразрешимых исторических загадок[99].

Глава восемнадцатая. В горах Сономы

О себе за этот период могу рассказать лишь очень немногое. Полгода меня продержали в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения. Я была «на подозрении» — термин, с которым вскоре пришлось познакомиться многим революционерам. Но наша новорожденная тайная

агентура уже становилась на ноги. К концу второго месяца моего заключения один из стражей открылся мне в том, что он революционер, близко связанный с нашей организацией; а несколько недель спустя я узнала, что недавно назначенный к нам тюремный врач Джозеф Паркхерст — член одной из боевых групп.

Так наша организация, незаметно проникая в поры вражеской организации, оплетала ее невидимой паутиной. Сидя в тюрьме, я знала все, что творится во внешнем мире. Да и каждый из депутатов, отбывавших заключение, был связан таким образом с мужественными товарищами, которые скрывались под личиной лакеев Железной пяты. И хотя Эрнеста содержали в военной крепости на Тихоокеанском побережье и нас разделяли три тысячи миль, мы постоянно сносились друг с другом, и наши письма безошибочно находили дорогу через всю страну.

Социалистическим лидерам в тюрьме и на воле удавалось обсуждать между собой все главнейшие вопросы и таким образом руководить движением. Уже через несколько месяцев появилась возможность кое-кому устроить побег. Но поскольку заключение не совсем отрывало их от организации, решено было временно воздержаться от всяких скороспелых мероприятий. Кроме пятидесяти депутатов, по разным штатам сидело еще триста видных работников. Предполагалось освободить всех разом. Если бы какая-то часть опередила другую, олигархия была бы начеку и это помешало бы побегу остальных. Считалось также, что одновременное освобождение наших узников по всей стране произведет впечатление на пролетариат и это свидетельство нашей моральной силы заставит его поднять голову.

Было решено, что, отбыв свой срок, я должна скрыться от властей и приготовить для Эрнеста надежное убежище. Но даже скрыться оказалось нелегкой задачей. Как только я вышла на волю, для наблюдения за мной была наряжена целая свора ищеек. Для того, чтобы беспрепятственно пробраться в Калифорнию, надо было прежде всего сбить их со следа. Это создало забавную ситуацию.

В то время начала действовать паспортная система, подобная той, какая существовала в царской России. О том, чтобы под своим именем пуститься в путь через все штаты, нечего было и думать. Прежде чем помышлять о встрече с Эрнестом, мне надо было исчезнуть, иначе, выследив меня, наши гонители могли бы после его побега добраться до него. С другой стороны, при существующих условиях мне было бы небезопасно пускаться в далекое путешествие под видом простой работницы. Оставалось одно — выдать себя за привилегированную особу из лагеря властителей. Помимо горсточки сверхолигархов, существовали сонмы олигархов помельче, с состоянием в несколько миллионов, вроде мистера Уиксона, — они-то и составляли преданную сверхолигархам когорту. У микроолигархов были, разумеется, жены и дочери, легион влиятельных дам, за одну из которых я и должна была сойти. Несколько лет спустя, при более изощренной паспортной системе, охватившей всех жителей США от мала до велика и регистрировавшей каждое их движение, такая затея была бы уже невозможна.

Когда все приготовления были закончены, ищейки потеряли мой след: Эвис Эвергард как сквозь землю провалилась. Вместо нее некая мисс Фелиция Ван-Вердиган, в сопровождении двух камеристок, болонки и горничной при болонке[100], величественно прошествовала в роскошный пульмановский[101] салон-вагон, который уже спустя несколько минут на всех парах умчал ее на запад.

Под видом свиты богатой дамы я увозила с собой трех революционерок. Две из них были членами боевых групп, третья, Грейс Холбрук, вступила в группу на следующий же год и спустя несколько месяцев была казнена Железной пятой. Это на ней лежала обязанность ухаживать за болонкой. Что же касается прочих моих спутниц, то одна из них, Берта Стоул,

двенадцать лет спустя пропала без вести, в то время как Анна Ройлстон и поныне здравствует, и ее роль в революционном движении все растет[102].

Без особых приключений в пути добрались мы до Калифорнии. Когда поезд по прибытии в Окленд подошел к дебаркадеру на 16 — й улице, мы благополучно выгрузились на перрон — и владетельной мисс Фелиции Ван-Вердиган, камеристок, болонки и горничной при болонке как не бывало. Прислужниц богатой дамы сразу же встретили и увели надежные товарищи. Другие занялись мной. Через полчаса после моего приезда в Окленд я уже была на борту небольшого рыбачьего баркаса, бороздившего воды залива Сан-Франциско. Дул противный ветер, и мы большую часть ночи пролежали в дрейфе. Но я видела издали огоньки Алькатраса, где Эрнест томился в крепостном каземате, и утешалась тем, что мы так близко друг от друга.

На рассвете мы на веслах подошли к Мариновым островам и весь день простояли в укрытии, а как только спустилась ночь, за два часа, при попутном ветре, пересекли залив Сан-Пабло и вошли в устье реки Петалумы. Здесь меня ждала лошадь и новый провожатый; ни минуты не медля, мы сели в седла и поскакали при свете звезд.

На севере перед нами высился мощный хребет Сономы — цель нашего путешествия. Объехав стороной город Сономy, мы углубились в ущелье, пролегавшее в отрогах скал. Проезжая дорога сменилась проселком, проселок — козьей тропкой, а затем и она затерялась среди горных пастбищ. Теперь мы поднимались прямиком по круче. Это был самый надежный путь — здесь мы никого не рисковали встретить.

Заря застала нас уже на северном склоне, и в серых сумерках утра мы сквозь заросли вечнозеленых кустарников спустились в уютную лощину, где густо росли секвойи. Здесь сладко благоухало позднее лето. Это была моя родина — знакомые, милые мне места, отсюда я могла бы взять на себя роль провожатого. Укрытие для Эрнеста было выбрано по моему совету. Уже не прячась, пустились мы через широкую луговину, а там по узкому кряжу, поросшему дубняком, перебрались на другой луг, поменьше. Здесь нам опять предстояло вскарабкаться на горный кряж, на этот раз увенчанный рощей земляничных деревьев, одетых ярко-красной корой, и пурпурных мансанит. Позади вставало солнце. Стайка перепелов, вспорхнув, шарахнулась в сторону и скрылась в лесной чаще. Крупный заяц бесшумно, как олень, перемахнул через дорогу. А вот и сам олень с ветвистыми рогами на мгновение показался на высокой круче, и солнце облило золотом его бока и шею.

Мы поскакали за ним следом, а потом извилистой тропкой, которой он пренебрег, спустились в рощу секвой, обступивших небольшое озеро, вода которого казалась темной от гальки, усеявшей дно. Здесь мне был знаком каждый кустик. Владельцем этого ранчо был когда-то писатель, мой большой друг. Он также стал революционером, но оказался несчастливее меня, ибо его уже не было в живых, и никто не знал, когда и как он погиб. Ему одному было известно то место, куда мы направили теперь своих коней. Мой друг купил это ранчо, привлеченный его живописным положением, и, к великому негодованию окрестных фермеров, заплатил за него кругленькую сумму. Он любил рассказывать, как, погруженные в нехитрые арифметические выкладки, они с сокрушением качали головой и недоуменно разводили руками, говоря: «Да тут и шести процентов не выколотишь!»

А теперь, когда он ушел из жизни, даже наследникам его не пришлось попользоваться этим живописным владением. Оно досталось не кому иному, как мистеру Уиксону; с недавних пор он завладел всей обширной территорией по северному и восточному склонам Сономы, от имения Спреклсов до Бенетской долины. Он превратил ее в олений заповедник, и здесь, на пространстве многих тысяч акров, на широком раздолье холмов, долин и ущелий, в почти первобытной глуши разгуливали олени. Все население было согнано с насиженных мест.

Калифорнийский приют для слабоумных тоже вынужден был освободить место для оленей — от него камня на камне не оставили.

Охотничий домик Уиксона находился всего лишь в четверти мили от избранного мной убежища. Я видела в этом не опасность, а скорее некоторое добавочное преимущество: мы будем как бы под крылом одного из микроолигархов — положение как нельзя более выигрышное. Шпионам Железной пяты и в голову не придет искать меня или Эрнеста, когда он ко мне присоединится, в оленьем заповеднике Уиксона.

Мы привязали лошадей в роще секвой на берегу озера. Из тайника, скрытого гниющим дуплистым стволом, мой спутник извлек на свет множество разнообразных предметов: пятидесятифунтовый мешок муки, консервы, кухонную посуду, одеяла, просмоленный брезент, книги и письменные принадлежности, пятигалонный керосиновый бидон и — самое важное — большой моток крепкой веревки. Припасов было так много, что за ними пришлось возвращаться несколько раз.

Хорошо еще, что до убежища было рукой подать. Захватив с собой веревку, я пустилась вперед по прогалине, тянувшейся меж двух лесистых холмов и густо заросшей кустарником и диким виноградом. Прогалина вела к обрывистому берегу ручья, который питался родниками и не пересыхал даже в знойное лето. Кругом в живописном беспорядке высились такие же лесистые холмы, — казалось, они были разбросаны здесь по прихоти какого-то титана. В строении этих холмов, достигавших нескольких сот футов высоты, не было каменистого подзема. Они сплошь состояли из вулканической лавы — знаменитого сономского краснозема. Ручеек пробил себе в их склонах глубокое извилистое ложе.

Мы чуть ли не скатились с крутого склона, а потом шагов сто прошли по руслу ручья. И тут очутились перед широким оврагом, вернее, балкой. Снаружи ничто не указывало на ее существование, да она и не была похожа на обычную балку. Пробравшись через заросли шиповника, вы оказывались на самом ее краю и, выглянув из-за густой завесы зелени, видели под собой такую же колеблющуюся изумрудную завесу. Длина и ширина балки достигала нескольких сот футов, а глубина была вдвое меньше. Возникнув здесь, быть может, по той же прихоти природы, которая раскидала вокруг шапки холмов, она веками подтачивалась и вымывалась протекавшим в ней ручейком. Нигде не проглядывало ни клочка голой земли. Стены были сплошным ковром зелени, где венерины волосы и золотистый папоротник соседствовали с гигантскими секвойями и дугласиями. Много могучих деревьев вырастало прямо из стен. Некоторые нависали под углом в сорок пять градусов, но большинство тянулось вверх, уходя корнями в почти отвесную кручу.

Трудно было бы сыскать более укромное убежище. Сюда не забирались даже мальчишки из Глен-Эллена. Если бы наша балка находилась в ущелье хотя бы в милю длиной, она была бы известна многим. Но речушка от истока до самого устья насчитывала каких-нибудь пятьсот ярдов. Она брала свое начало из горного источника, отстоявшего от балки на триста ярдов, и уже в сотне ярдов ниже, у подножия холма, выбегала на волю и вливалась в реку, протекавшую по открытой холмистой местности.

Обвязав веревку вокруг дерева и опоясав меня другим концом, мой спутник стал осторожно спускать меня вниз. Через мгновение я была уже на дне балки. Вскоре тем же путем последовали за мной все вещи и припасы, которые он постепенно приносил из тайника. Когда все было водворено на место, мой спутник втащил веревку наверх, спрятал в надежном месте, крикнул мне на прощание несколько дружеских слов и ушел, оставив меня одну.

Прежде чем продолжать, скажу несколько слов об этом своем спутнике Джоне Карлсоне,

преданном и верном товарище, скромном рядовом великой армии революции. Он служил конюхом у Уиксона и жил тут же неподалеку. На лошадях Уиксона мы и совершили свое путешествие в олений заповедник. В течение последующих двадцати лет Карлсон был сторожем и хранителем нашего убежища, и за все это время, я твердо уверена, ни разу у него не шевельнулась мысль о предательстве. Это был человек слова, и вы могли положиться на него до конца. Внешне он производил впечатление флегматика и увальня, — казалось бы, что может быть у такого медведя общего с революцией? А между тем любовь к свободе ровным, немеркнущим пламенем горела в его сумрачной душе. Отсутствие воображения и неповоротливый ум делали его в нашем кругу в некотором роде незаменимым. Он никогда не терял голову, каждый приказ выполнял молча, без лишних разговоров и вопросов. Однажды я спросила Карлсона, что сделало его революционером.

— В молодости я служил в солдатах, — рассказал он мне. — Давно это было, еще в Германии. Там все служат, пришлось и мне. Подружился я в полку с одним человеком, моим ровесником. Отец у него агитировал против кайзера — значит, правду народу говорил; ну его, конечно, схватили — и в тюрьму. А этот парень — сын его, значит — все толковал мне про народ, и про труд, и про капиталистов, как они простой народ обирают. Он и обратил меня в свою веру, стал и я социалистом. Очень уж он правильно и хорошо про это говорил, мне на всю жизнь в память врезалось. И как только я сюда приехал, сразу стал социалистов искать. Приняли меня в одну районную организацию, тогда еще была у нас социалистическая рабочая партия, а после раскола перешел я в социалистическую партию. Работал тогда в Сан-Франциско, в извозчичьем дворе, — это еще до землетрясения было. Я двадцать два года членские взносы плачу. И сейчас состою членом и плачу взносы, хотя теперь за это по головке не погладят. И всегда буду платить, что бы там ни было. Хотелось бы мне дожить до народной власти…

Оставшись одна, я приготовила на керосинке завтрак и занялась приведением в порядок моего нового жилища. Нередко на рассвете или после захода солнца ко мне украдкой приходил Карлсон, и несколько часов мы работали вместе. Сначала я жила под натянутым брезентом. Потом сооружена была палатка. И, наконец, когда мы убедились в своей безопасности. Карлсон приступил к сооружению маленького домика. Сверху, за густым пологом зелени, он был незаметен. Домик мы поставили у отвесной стены балки и в самой земле вырыли, укрепив подпорками стены и потолок, две каморки, сухие и хорошо проветриваемые. О, поверьте, у нас было чудесно! Впоследствии, когда к нам в убежище приехал знаменитый немецкий террорист Биденбах, он соорудил нам дымоуловители, и в холодные зимние вечера обитатели балки могли греться возле уютного камелька.

Здесь я позволю себе вступиться за честь этого товарища-террориста, человека прекрасной и чистой души, в отношении которого была совершена неслыханная в анналах нашей революции несправедливость. Неверно, будто Биденбах оказался предателем. Неверно, будто с ним, как утверждают, расправились его же товарищи. Это утка, пущенная клевретами Железной пяты. Биденбах был подвержен приступам необычайной рассеянности и забывчивости. По трагическому недоразумению его подстрелили наши же часовые, охранявшие убежище в Кармеле, так как он умудрился позабыть пароль и условные знаки. Чистейшая ложь, будто Биденбах предал свою боевую группу. В его лице мы потеряли одного из лучших и преданнейших революционеров[103].

Вот уже девятнадцать лет, как основанное мною убежище служит надежным укрытием для наших товарищей. Оно никогда не пустует и, кроме одного только случая, не было обнаружено никем из врагов. При всем этом оно находится чуть ли не рядом с охотничьим домиком Уиксона и в неполной миле от деревни Глен-Эллен. Каждое утро и вечер я слышала шум приходивших и уходивших поездов и проверяла часы по гудку, доносившемуся ко мне с

кирпичного завода[104].

Глава девятнадцатая. Искусство перевоплощения

«Ты должна перевоплотиться, — писал мне Эрнест. — Пусть Эвис Эвергард исчезнет. Постарайся стать совершенно другим человеком; но чтобы перемена была не только внешней — впитай в себя это новое всеми порами своего существа. Перевоплотись так, чтобы даже я не узнал тебя; измени свой голос, жестикуляцию, движения, мимику, походку — одним словом, преобразись с головы до ног».

Я послушалась его приказа. Каждый день я часами упражнялась в том, чтобы освободиться от Эвис Эвергард и похоронить ее глубоко-глубоко под личиной другой женщины, которая должна была стать моим новым «я». Такое перевоплощение требует большой и постоянной работы. Например, голос, интонация... Я старалась добиться их окончательного закрепления, чтобы они жили независимо от моего желания. Только такой автоматизм в исполнении заученной роли мог обеспечить полный успех. Надо было настолько войти в роль, чтобы совершенно забыть себя. Это как усвоение чужого языка — скажем, французского. Сначала это для вас сознательный процесс, требующий вмешательства и напряжения воли. Вы думаете по-английски и переводите свои мысли на французский язык или читаете французскую книгу и переводите на английский, чтобы уловить смысл, пока, наконец, после основательной подготовки, вы не начинаете читать, писать, а главное — думать без помощи родного языка.

То же было и с нашей маскировкой. Приходилось работать над ролью, вживаться в нее так, чтобы вернуться к себе самой было уже трудно, требовало бы внимания и напряжения воли. Сначала, разумеется, все делалось наобум, и немало было путаницы и ошибок. Ведь мы создавали новое искусство, многое надо было впервые найти и многому научиться. Но такие поиски шли повсюду. Появлялись мастера этого нового искусства, накапливался целый арсенал приемов и рецептов, создавалось своего рода неписаное руководство, которое впоследствии вошло в программу обучения каждого новичка в школе революции[105].

К этому времени относится исчезновение моего отца. Регулярно приходившие письма внезапно прекратились. В квартиру на Пелл-стрит он давно уже не заходил. Товарищи искали его повсюду. Наши тайные агенты обшарили все тюрьмы в Америке и нигде его не нашли. Он исчез бесследно, словно его поглотила земля, и поныне не обнаружено никаких его следов[106].

Шесть долгих месяцев я провела в одиночестве, но это не были месяцы праздности. Наша организация развивалась, и дела было по горло. Эрнест и другие узники, поддерживавшие между собой постоянную связь, руководили работой. Надо было организовать устную пропаганду, работать над улучшением и расширением сети тайной агентуры, создать ряд подпольных типографий, наладить так называемую подпольную железную дорогу, иначе говоря — установить связь между тысячами тайных убежищ и устроить новые там, где их недоставало.

Словом, работы было уйма. По истечении полугода мое одиночество было нарушено приездом двух товарищей. Это были молодые девушки, самоотверженные и пламенные борцы за свободу: Лора Питерсен, исчезнувшая в 1922 году, и Кэйт Бирс, позднее вышедшая замуж за Дюбуа[107], Последняя и сейчас с нами; как и все мы, она призывает зарю того дня, который откроет новую эру в жизни человечества.

Обе девушки были страшно взволнованы. Чего только они не пережили в пути: страх,

смятение, близкую опасность — смерть коснулась их своим крылом. Среди экипажа рыбачьего баркаса в заливе Сен-Пабло оказался шпик. Агент олигархии, он втерся в наши ряды под маской революционера и во многое был посвящен. Очевидно, он охотился за мной, — еще раньше доходили слухи, что олигархи крайне озабочены моим бегством. К счастью, он, как потом выяснилось, никому не успел сообщить о своих догадках. Он, видимо, рассчитывал вот-вот открыть мое убежище и добраться до меня и со дня на день откладывал свое донесение. Так оно и умерло вместе с ним. Когда обе путницы высадились в устье Петалумы и пересели на лошадей, он под каким-то предлогом отпросился на берег. Карлсону поведение матроса показалось подозрительным. Проводив девушек на гору и проехав с ними часть пути, он оставил им свою лошадь и вернулся обратно пешком. Каким-то образом ему удалось изловить шпика, а что случилось вслед за этим, пусть лучше расскажет он сам.

— Убрал я его, — сказал нам Карлсон со свойственной ему краткостью. — Убрал… — Глаза Карлсона мрачно поблескивали, корявые, огрубевшие пальцы сжимались и разжимались. — Он даже и не вскрикнул. Я спрятал его там. Как стемнеет, поеду закопаю поглубже.

В то время я немало дивилась происшедшей во мне перемене. Вспоминая безмятежные годы моей юности в замкнутом, тихом университетском мирке, я сравнивала их со всей теперешней жизнью революционерки, бестрепетно взирающей на смерть и насилие. Не верилось, чтобы и то и другое было действительностью. Но где же сон и где явь? Быть может, жизнь революционерки, скрывающейся в какой-то норе, — тяжелый кошмар, который рассеется при свете дня? Или же я действительно революционерка, и мне только пригрезились далекие годы, когда я мирно жила в городе Беркли и самыми волнующими событиями моей жизни были танцы и вечера, публичные лекции и споры за чайным столом? Впрочем, мне думается, так чувствовали все, кто сплотился под красными знаменами всемирного братства людей.

Иногда я вспоминала тех, кого знала в былые годы. Как ни странно, они время от времени возникали на моем горизонте, чтобы тут же исчезнуть без следа. Например, епископ Мохауз. Мы тщетно разыскивали его, когда наша организация окрепла. Его переводили из одного сумасшедшего дома в другой. Стало известно о его временном пребывании в Стоктоне и Санта-Кларе, а потом след его затерялся. Сведений о смерти тоже не было. Видимо, ему удалось бежать. В то время я и представить себе не могла нашей будущей страшной встречи в черные дни разгрома Чикагского восстания.

Джексона, который лишился руки на сьеррской фабрике, — человека, чья судьба так круто изменила мою судьбу, я больше никогда не встречала. Но сведения о нем мне удалось собрать. Джексон не примкнул к социалистам. Озлобленный своими несчастьями и горькой обидой, он сделался анархистом. Не последователем какой-либо теории, нет: в нем пробудился зверь, обуреваемый ненавистью и жаждущий мести. И он достиг своего. Обманув бдительность стражей, в глухую ночь, когда все уже спали, он взорвал дворец Пертонуэйтов вместе со всеми его обитателями, включая и сторожей. В следственной тюрьме он удавился.

Зато весьма утешительным образом сложилась судьба доктора Гаммерфилда и доктора Боллингфорда. Оба продолжали верно служить своим хозяевам и дождались щедрой награды. Каждому из них было отведено в качестве резиденции по великолепному епископскому дворцу, где они продолжают жить и поныне, в ладу с миром и собственной совестью. Оба ярые защитники олигархии. Оба страдают ожирением. Эрнест сказал о них однажды: «Доктор Гаммерфилд отлично приспособил свою метафизику и ныне именем божиим благословляет на царство Железную пяту. Будучи поклонником красивости в богослужении, он благополучно свел на нет то „газообразное позвоночное“, о котором говорил Геккель, и в этом его отличие от доктора Боллингфорда. У того бог — один газ и ни намека на позвоночное».

Питер Донелли, мастер сьеррской фабрики, штрейкбрехер, знакомый мне по делу Джексона, удивил нас всех. В 1918 году в Сан-Франциско мне довелось присутствовать на собрании группы террористов, именовавших себя «Красные из Фриско», самой грозной и беспощадной из всех. Члены этой группы не входили в нашу организацию. Это были фанатики, безумцы. Такие настроения были нам чужды, и мы их не поощряли. Но отношения у нас были вполне добрососедские. В тот вечер меня привело к ним дело большой важности. В доме, где мы собрались, я оказалась единственной женщиной среди двух десятков мужчин, причем все они были в масках. Когда наши переговоры закончились, один из присутствующих вызвался проводить меня к выходу. В темной прихожей он неожиданно остановился, зажег спичку и, поднеся ее к лицу, сбросил маску. Я увидела искаженное от волнения лицо Питера Донелли. Спичка погасла.

— Я только хотел, чтобы вы меня узнали, — сказал он мне в темноте. — Помните инспектора Даллеса?

Я сказала, что помню; передо мной встала лисья физиономия инспектора сьеррской фабрики.

— С ним я свел счеты в первую очередь, — горделиво пояснил Донелли. — Потом уже примкнул к «Красным из Фриско».

— Как же это вы решились? А ваша жена, дети?

— У меня никого не осталось. Нет, не думайте, — прибавил он торопливо. — Это я не за них мщу. Они умерли дома, в постели. Всех унесла болезнь, одного за другим. Вот и развязали мне руки. А мщу я за свою искалеченную жизнь. Когда-то меня знали как штрейкбрехера Донелли. А сегодня — сегодня я номер двадцать седьмой в группе «Красные из Фриско»! Ну пойдемте, я выведу вас отсюда.

Вскоре мне пришлось узнать о нем больше. По-своему Донелли был прав, говоря, что лишился всех своих детей. Однако сын его Тимоти был жив, и отец знать его не хотел, с тех пор как тот поступил в наемные войска[108] Железной пяты.

В группе «Красные из Фриско» было правило, что каждый ее член должен совершить в год не меньше двенадцати террористических актов. Неудача каралась смертью. Невыполнение установленного минимума обязывало провинившегося к самоубийству. Совершение террористических актов не было оставлено на волю случая. Время от времени эти маньяки собирались и выносили массовые смертные приговоры особо ненавистным олигархам или их прислужникам. Распределение казней между членами группы производилось по жребию.

Причиной моего прихода к ним послужило следующее обстоятельство. Один из наших товарищей, который под видом духовного лица много лет работал в тайной полиции Железной пяты, был приговорен к смерти «Красными из Фриско». Как раз в тот вечер разбиралось его дело. Сам он, разумеется, на суде не присутствовал, и судьи не знали, что он наш товарищ. Мне было поручено рассеять это недоразумение. Может показаться странным, что мы узнали о планах этой группы, но все объяснялось очень просто. Один из наших тайных агентов входил в это сообщество. Мы обязаны были знать, что происходит не только среди наших врагов, но и среди друзей, и уж эту группу безумцев нам, во всяком случае, нельзя было выпускать из виду.

Но вернемся к Питеру Донелли и его сыну. Бывший мастер исправно служил своей группе, пока однажды в списке доставшихся ему приговоров не прочел имя Тимоти Донелли. Тут в нем заговорили отцовские чувства. Чтобы спасти сына, он предал своих единомышленников, — правда, не всех, однако человек двенадцать было казнено, и группа оказалась фактически

разгромленной. Остальные вынесли предателю смертный приговор.

Тимоти Донелли ненамного пережил отца. «Красные из Фриско» поклялись предать его смерти. Олигархия делала все для спасения своего агента. Его перебрасывали с места на место. Трое террористов поплатились жизнью за попытку до него добраться. Как я уже говорила, их организация состояла из одних мужчин. С отчаяния они обратились к женщине. Это была не кто иная, как Анна Ройлстон. Наш центр запретил ей всякое вмешательство в это дело, но с Анной нелегко было сладить, — дисциплина у нее всегда хромала. Необычайная одаренность и личное обаяние сделали ее популярной, и ей многое прощали. Трудно было подвести ее под общий ранжир и мерить обычной меркой.

Несмотря на категорическое запрещение руководства, она взялась за это дело. Надо сказать, что Анна была пленительной женщиной, пользовавшейся успехом у мужчин. Все наши молодые люди были в нее влюблены, и красота ее привела к нам немало новых членов. Но Анна и думать не хотела о замужестве. Она нежно любила детей, но считала, что это не для нее: она посвятила себя целиком нашему делу, а дети и семья стали бы для нее помехой.

Анне не стоило большого труда повергнуть к своим стопам Тимоти Донелли. Совесть ее при этом оставалась спокойной. Как раз в это время произошла пресловутая нэшивилльская резня: наемники во главе с Донелли перебили восемьсот ткачей. Анне не пришлось самой сводить с ним счеты, она только сдала его с рук на руки членам группы «Фриско» [109]. Это случилось в прошлом году, и с тех пор Анну Ройлстон зовут у нас «Красной девой».

С полковником Ингрэмом и полковником Ван-Гилбертом, моими старыми знакомыми, мне тоже пришлось еще свидеться.

Полковник Ингрэм достиг при олигархах высоких должностей и в конце концов был назначен послом в Германию. Его одинаково презирали рабочие обеих стран. Я встретилась с ним в Берлине, куда приезжала как доверенное лицо Железной пяты по делам международного шпионажа. Полковник оказывал мне всяческое содействие. Кстати, в этой двойной роли мне удалось сделать для революции много полезного.

Полковник Ван-Гилберт получил прозвище «Цепной пес». Он сыграл видную роль в создании нового кодекса законов после Чикагского восстания. Но еще до этого ему был вынесен приговор за его судебную деятельность. Я была среди тех, кто судил и приговорил его к смертной казни. Приговор привела в исполнение все та же Анна Ройлстон.

И еще одна знакомая тень встает передо мной — Джозеф Герд, адвокатишка Джексона. Меньше всего я могла предполагать, что еще раз встречу этого человека. И какая же это была встреча! Спустя два года после Чикагского восстания мы с Эрнестом заехали в Бентхарборское убежище[110], на берегу озера Мичиган, против Чикаго. Войдя, мы застали знакомую картину: судили какого-то шпика. После вынесения смертного приговора его вели к выходу, и мы встретились с ним у порога. Завидев меня, несчастный вырвался из рук своих конвоиров, бросился к моим ногам, судорожно обхватил мои колени и стал молить о пощаде. Когда он поднял вверх искаженное страхом лицо, я узнала Джозефа Герда. Мне немало пришлось видеть в жизни тяжелого, но задыхающиеся вопли этого жалкого существа потрясли меня, как ничто другое. В нем говорила вся исступленная жажда жизни. Это была страшная, душераздирающая сцена. Десятки рук оттаскивали его прочь, но он не отпускал меня. Когда же его наконец подхватили и унесли, отбивающегося и кричащего, я без чувств упала на пол. Тяжко взирать на гибель храбрецов, но нет ужасней зрелища, нежели трус, молящий о пощаде.

Глава двадцатая. Исчезновение олигарха

Но воспоминания о старой жизни увлекли меня слишком далеко вперед, в новую жизнь. Массовое освобождение наших узников из тюрьмы произошло только в первой половине 1915 года. Сложнейшую операцию по устройству одновременных побегов удалось провести сверх ожидания удачно, и этот большой успех придал нам уверенности и силы для дальнейшей работы. За одну только ночь на пространстве от Кубы до Калифорнии нам удалось освободить из тюрем, крепостей и военных узилищ всех наших депутатов, а также свыше трехсот других видных деятелей. У нас не было ни единого провала. Все узники не только бежали, но и благополучно достигли назначенных им убежищ. И только Артуру Симпсону не удалось увидеть свободу, он скончался в Кабаньясской тюрьме после жестоких пыток.

Следующие полтора года были для нас с Эрнестом счастливейшей порой нашей жизни. Все это время мы были неразлучны. Впоследствии, когда мы вышли из нашего убежища, нам уже редко выпадало такое счастье. Я ждала в ту ночь Эрнеста с таким же нетерпением, с каким сейчас жду завтрашнего восстания. Мы бог весть как давно не видались, и мысли о возможной задержке, об ошибке, грозящей какими-нибудь осложнениями, доводили меня до безумия. Часы тянулись бесконечно. Я ждала одна. Биденбах и трое молодых товарищей, укрывавшихся в убежище, ушли, вооруженные с головы до ног, в горы встречать Эрнеста. В ту ночь убежища, наверно, пустовали по всей стране.

Как только небо осветилось первым проблеском зари, раздался условный сигнал. Я ответила. В темноте я чуть не бросилась на шею Биденбаху, спустившемуся вниз первым. Но в следующее мгновение Эрнест уже сжимал меня в своих объятиях. И тут я почувствовала, что только усилием воли могу стать прежней Эвис Эвергард, воскресить ее улыбку, интонации, голос. Я уже не могла оставаться сама собой без постоянного напряжения памяти и воли, так прочно завладело мной новое существо, в которое мне удалось перевоплотиться.

В уединении нашей маленькой комнатки, при свете керосиновой лампы я хорошенько вгляделась в Эрнеста. Не считая бледности, он почти не изменился. Это был он, мой возлюбленный муж, мой герой. Правда, черты его стали резче и суровее, но это скорее даже шло ему, это придавало отпечаток благородства и утонченности его лицу, дышавшему избытком энергии. В нем чувствовалась новая сосредоточенность, хотя в глазах по-прежнему поблескивали искорки смеха. Он потерял двадцать фунтов в весе, однако чувствовал себя превосходно. Усиленные занятия гимнастикой укрепили его мускулы, и они были как стальные. Он, пожалуй, казался даже здоровее, чем до тюрьмы.

Прошло много часов, прежде чем Эрнест согласился лечь отдохнуть. Я же, взволнованная и счастливая, и думать не могла о сне. Мне ведь не пришлось бежать из тюрьмы и долгие часы скакать на коне.

Пока Эрнест спал, я переоделась и изменила прическу, готовясь снова вернуться к той роли, которая стала моим вторым «я». Как только Биденбах и наша молодежь проснулись, мы составили против Эрнеста маленький заговор. Мы обо всем уговорились и сидели в кухне, служившей нам и столовой, когда дверь отворилась и вошел мой муж. Биденбах, как было условлено, обратился ко мне с каким-то вопросом, называя меня Мери, и я ответила ему, в то же время поглядывая на Эрнеста с интересом, естественным для молодой особы, впервые увидевшей перед собой такую знаменитость. Эрнест бегло взглянул на меня и нетерпеливо огляделся. Я была представлена ему как Мери Холмс.

На стол был поставлен лишний прибор, и когда все расселись по местам, один стул оказался свободен. Увидев, что мой муж недоволен и еле сдерживает нетерпение, я готова была

закричать от радости. Наконец Эрнест не выдержал.

— Где моя жена? — спросил он напрямик.

— Спит еще, — отозвалась я.

Это была критическая минута, но я говорила измененным голосом, и Эрнест меня не узнал. Завтрак продолжался. Я болтала без умолку, изображая из себя экспансивную молодую особу, увлекающуюся знаменитостями и не стесняющуюся навязывать им свое поклонение.

Наконец, как бы не в силах совладать со своими чувствами, я вскочила с места, обняла Эрнеста и чмокнула его в губы. Надо было видеть при этом моего мужа. Опасливо отодвинув меня на расстояние вытянутой руки, он оглядывался по сторонам с видом величайшего недовольства и недоумения. Наши мужчины не выдержали и покатились со смеху. Начались объяснения, но Эрнест не сразу им поверил. Он долго всматривался и то узнавал, то окончательно отказывался узнать меня. И только когда я стала прежней Эвис Эвергард и принялась нашептывать ему на ухо ласковые прозвища, которые знали на всем свете только я да он, Эрнест согласился признать меня своей милой женушкой.

Забавно, что в этот день он все как-то меня дичился и наконец, решившись обнять, признался с великим смущением, что чувствует себя чем-то вроде двоеженца.

— Ты для меня теперь и Эвис и какая-то еще неведомая мне женщина, — говорил он смеясь. — Выходит, что у меня не одна, а две жены, — можно сказать, целый гарем. Что ж, тем лучше. Если придется удирать из штатов, запишемся с тобой в турецкое подданство. Мы теперь для турок самая подходящая компания[111].

Для меня началась пора безоблачного счастья. Правда, работа отнимала целые дни, но это были дни, прожитые вместе с Эрнестом. Полтора года мы безраздельно принадлежали друг другу, не зная к тому же тягостного уединения, видя перед собой все новых и новых людей, рядовых революционеров и знаменитых деятелей, наблюдая причудливую перекличку голосов со всех участков фронта, слушая рассказы о еще более причудливых событиях — из мира революции и подпольной войны. Немало было даровано нам смеха и веселья. Мы были не сумрачными заговорщиками, отчужденными от мира. Нам выпало на долю много работать и много страдать и, сменяя павших в бою товарищей, неуклонно идти вперед, но и труд, и борьба, и жизнь в непосредственной близости от смерти таили для нас немало светлых минут беспечного смеха и любви. К нам приезжали художники, ученые, музыканты и поэты. И в нашей балке мы наслаждались культурой, куда более утонченной и высокой, чем та, которой кичились олигархи в своих пышных хоромах и чудо-городах. Кстати, многие из приезжавших к нам участвовали в созидании всего этого великолепия[112].

Мы не сидели взаперти. Часто по вечерам вся наша ватага отправлялась в горы на уиксоновских скакунах. Знал бы их владелец, сколько революционеров мчалось на спинах его лошадей! Мы даже отваживались устраивать пикники в уединенных местах и, выехав до рассвета, возвращались домой поздно вечером. К нашим услугам были уиксоновские сливки и масло[113]. Эрнест не отказывал себе в удовольствии пострелять уиксоновских зайцев и перепелов, а при случае не гнушался и молодым оленем.

Мы чувствовали себя в полной безопасности. Как уже упоминалось, только однажды к нам в убежище вторгся посторонний. Кстати, мой рассказ об этом впервые прольет свет на таинственное исчезновение молодого Уиксона, наделавшее в свое время столько шума. Теперь, когда его уже нет в живых, запрет с этой тайны может быть снят.

В нашей балке было одно местечко, куда несколько часов в течение дня падали солнечные лучи. Мы натаскали туда речного гравия и устроили нечто вроде пляжика, где можно было полежать и погреться. Как-то я прикорнула здесь с томиком Менденхолла[114] и незаметно задремала. Мне было так уютно и спокойно на моем ложе, что даже пламенные строфы этого вдохновенного поэта не могли развеять мою дремоту.

Разбудил меня ком земли, упавший мне на ноги. Очнувшись, я услыхала, что кто-то спускается вниз. Минута — и какой-то юноша, съехав с отвесной кручи, очутился передо мной. Это был молодой Филипп Уиксон — тогда я, конечно, этого не знала. Увидев меня, он не растерялся и только присвистнул от удивления.

— Однако, — пробормотал он и, сняв шляпу, вежливо добавил: — Простите, я не рассчитывал кого-нибудь здесь найти.

Я не так спокойно, как он, отнеслась к этой встрече. Мой опыт конспиратора был еще невелик, и я легко терялась в трудных обстоятельствах. Позднее, в присвоенной мне роли международной шпионки, я, разумеется, не ударила бы в грязь лицом. Но тут я сразу вскочила и выкрикнула условный сигнал, предупреждающий об опасности.

— Что это значит? — Уиксон посмотрел на меня испытующе. Видно было, что, спускаясь, он и не подозревал о нашем существовании, и я свободно вздохнула.

— А вы как полагаете? — спросила я в ответ. Находчивостью я, как видите, не отличалась.

— Кто вас знает, — пробурчал он, покачивая головой. — Может, у вас тут сообщники. Но придется вам ответить за это. Мне эта история определенно не нравится. Вы забрались в чужие владения. Это поместье моего отца и…

В эту минуту голос Биденбаха, как всегда вежливый и спокойный, негромко произнес за его спиной:

— Руки вверх, молодой человек!

Уиксон послушно поднял руки и повернулся к Биденбаху, который направил на него в упор тяжелый маузер.

Уиксон был не робкого десятка.

— Ого! — сказал он. — Да вас тут шайка революционеров. Осиное гнездо, как я погляжу. Ну, долго вы здесь не засидитесь, смею вас уверить.

— Как бы вам, молодой человек, не пришлось здесь засидеться, — спокойно возразил Биденбах. — А пока прошу вас следовать за мной.

— Это куда же еще? — удивился Уиксон. — Что у вас тут, катакомбы? Мне приходилось слышать о таких вещах…

— А вот пойдемте, увидите, — сказал Биденбах.

— Вы не имеете права… — вскипел пленник.

— С вашей точки зрения, — многозначительно возразил террорист. — А с нашей — имеем. Придется вам привыкнуть к тому, что здесь на все смотрят иначе, чем в мире насилия и

жестокости, где вы жили до сих пор.

— Ну, это спорный вопрос, — пробормотал Уиксон.

— Вот мы и поспорим с вами, время у нас найдется.

Молодой человек рассмеялся и последовал за своим конвоиром в дом. Мы оставили его под наблюдением в одной из маленьких комнат, а сами собрались в кухне для совещания.

Биденбах со слезами на глазах заявил, что молодого Уиксона придется убрать, и был очень рад, когда мы большинством голосов провалили это жестокое предложение. С другой стороны, отпустить молодого олигарха на все четыре стороны мы тоже не могли.

— Давайте оставим малого у себя и займемся его воспитанием, — предложил Эрнест.

— В таком случае, с вашего разрешения, я хотел бы стать его наставником в вопросах юриспруденции, — воскликнул Биденбах.

Так, смеясь, мы и приняли это решение. Филипп Уиксон должен был остаться у нас для прохождения курса социологии и социалистической морали. А между тем нас ждала другая, более неотложная задача: надо было уничтожить следы неудачного путешествия молодого олигарха на дно балки — одна стена была сильно изрыта обвалом. Эта работа досталась Биденбаху. Обвязавшись веревкой, он целый день ровнял и выглаживал почву скребком. Так же тщательно были уничтожены все следы, ведущие к нам по тропинке. И, наконец, явился Карлсон и потребовал у нас башмаки Уиксона.

Молодой олигарх не пожелал разуваться и чуть было в драку не полез, но при ближайшем знакомстве с железными пальцами Эрнеста — пальцами кузнеца — сменил гнев на милость. Карлсон натер на ногах волдыри и содрал себе кожу тесной обувью своего молодого хозяина, но зато поработал на славу. Шагая в башмаках Уиксона от того места, где обрывались следы, он свернул налево и, то обходя холмы, то поднимаясь на кручи и спускаясь в лощины, прошел несколько миль, пока не скрыл следы в водах бурного ручья. Здесь он снял башмаки и большую часть обратного пути проделал босиком. Только неделю спустя мы вернули Уиксону его башмаки.

К вечеру в парке были спущены собаки-ищейки, и нам уже не пришлось спать в эту ночь. На следующий день собаки то и дело рыскали по нашему ущелью, но, сбитые с толку следами Карлсона, убегали влево, и лай их постепенно удалялся и замирал высоко в горах. Все это время наши мужчины стояли наготове в полном вооружении, с револьверами и винтовками; нечего и говорить, что мобилизованы были все адские машины, изготовленные Биденбахом. Можно себе представить, как изумился бы спасательный отряд, если бы он все-таки попал в нашу пещеру.

Я рассказала здесь о подлинных обстоятельствах исчезновения Филиппа Уиксона, некогда принадлежавшего к классу олигархов, впоследствии верного сына революции, потому что мы в конце концов перевоспитали его. Это был юноша с восприимчивым, гибким умом и неиспорченной душой. Несколько месяцев спустя, сев на лошадей из конюшни его отца, мы вместе с ним перевалили через Сономy и спустились к устью Петалумы, где нас принял на борт небольшой рыбачий баркас. С величайшими предосторожностями переезжая с одной стоянки на другую, мы перебрались в Кармел, в тамошнее убежище.

Здесь Уиксон прожил с нами еще восемь месяцев, а потом и сам не захотел с нами расстаться. На это у него были две причины. Во-первых, он, как и следовало ожидать, влюбился в Анну

Ройлстон; во-вторых, стал социалистом. И только окончательно удостоверясь в безнадежности своей любви, он исполнил наше желание и вернулся в отчий дом.

Продолжая считаться для внешнего мира олигархом, Филипп Уиксон на самом деле был одним из ценнейших наших агентов во вражеском лагере. Недаром олигархи так часто становились в тупик перед неожиданным крушением своих замыслов и планов. Если бы они знали, как велико число наших сторонников в их рядах, им не пришлось бы удивляться. Всю свою жизнь Филипп Уиксон был свято верен великому делу революции. Эта преданность стоила ему жизни. В 1927 году, во время ужаснейшей бури, он отправился на собрание социалистических руководителей, простудился и заболел воспалением легких, которое и свело его в могилу[115].

Глава двадцать первая. Ревущий зверь из бездны

За время долгого пребывания в убежище мы не отрывались от внешнего мира и достаточно ясно представляли себе всю мощь режима, с которым находились в состоянии войны. Кончился период ломки и перехода на новые рельсы, и теперь, оформившись и окрепнув, новые учреждения Железной пяты приобрели все признаки устойчивости и постоянства. Олигархии удалось создать всеобъемлющий, разветвленный государственный аппарат, и машина эта исправно работала, несмотря на все наши попытки затормозить, нарушить ее ход.

Для многих наших товарищей это было полнейшей неожиданностью. Они не представляли себе такой возможности. И тем не менее жизнь в стране шла своим чередом. Люди продолжали трудиться на полях и в недрах земли. Но теперь они были рабами. Ведущие отрасли промышленности процветали. Рабочие, члены привилегированной касты, жили припеваючи, усердно трудились. Впервые после неурядиц промышленной войны они вкусили мир. Кончился вечный страх перед безработицей, кончились стачки, локауты, гонения на профсоюзы. Они жили в удобных домах, в специально для них построенных уютных поселках, которые казались им сущим раем по сравнению с трущобами и грязными гетто, где они раньше ютились. Теперь они лучше питались, меньше работали, чаще отдыхали, в их обиходе появились новые интересы и развлечения. О своих братьях и сестрах, гонимых париях, злосчастных обитателях бездны, они и думать забыли. В человеческом обществе начиналась новая эра — эра эгоизма. И все же это было верно лишь до известной степени. Рабочие касты были густо прослоены нашими сторонниками, людьми, для которых шкурнические интересы не заслоняли идеалов свободы и братства.

Другим важным учреждением, принявшим устойчивую форму и работавшим без заминки, была армия наемников. Она возникла из старой регулярной армии и насчитывала миллион солдат, помимо колониальных войск. Наемники были особым сословием. Они жили в специально отведенных им городах, которыми сами управляли, и пользовались множеством других привилегий. Немалая доля чудовищных прибылей Железной пяты уходила на их содержание. Утрачивая постепенно всякую связь с народом, они вырабатывали свое классовое самосознание, свою классовую мораль. Но и среди них было множество наших приверженцев[116].

Надо сказать, что и олигархи прошли некий путь развития, столь же примечательный, сколь и неожиданный. Они создали у себя жесткую классовую дисциплину. У всех у них были общественные обязанности, которые строго выполнялись. Вывелась порода богатых бездельников. Каждый олигарх по мере своих сил содействовал укреплению объединенной мощи олигархии. Они занимали командные посты в армии и промышленности, овладевали техническими знаниями и становились дельными, а подчас и выдающимися инженерами. Они заполняли многочисленные государственные должности, служили в колониях, десятками

тысяч работали в тайной полиции. Их в обязательном порядке обучали богословию, естествознанию и другим наукам, прививали им вкус к литературе и искусствам. И во всех этих областях они выполняли важнейшую для себя задачу — внушать всей нации идеи, способствующие увековечению олигархии.

Их учили, а впоследствии и сами они учили, что правда и добро на их стороне. С детства им прививали аристократические представления о своей классовой исключительности, они всасывали их с молоком матери. Олигархи смотрели на себя как на укротителей зверей, как на пастырей человеческого стада. Подземные толчки народного возмущения сотрясали почву под их ногами. Призрак насильственной смерти гнался за ними по пятам. Бомбы, ножи и пули были для них клыками и когтями ревущего зверя из бездны, которого необходимо укротить для спасения человечества. Они и полагали себя спасителями человечества, самоотверженно ведущими его к высокой цели.

Они считали себя как класс единственными носителями цивилизации. Они верили, что стоит им ослабить узду, как их поглотит разверстая слюнявая пасть первобытного зверя, а вместе с ними погибнет вся красота, и радость, и благо жизни. Без них водворится анархия и человек вернется в первобытную ночь, из которой он с таким трудом выбрался. С детских лет их пугали этой картиной грядущей анархии, и, одержимые страхом, они и сами пугали ею своих детей: вот зверь, которому должно наступить на загривок, и высшая миссия аристократии в том, чтобы держать его под пятой. Только они, по их представлениям, ценой неустанных трудов и жертв способны были защитить род людской от всепожирающего зверя; и они верили этому, верили непоколебимо.

О присущей классу олигархов уверенности в своей правоте надо очень и очень помнить. В этом-то и сила Железной пяты, чего некоторые наши товарищи не пожелали или не сумели увидеть. Многие усматривали силу Железной пяты в ее системе подкупа и наказаний. Но это ошибка. Небо и ад могут быть решающими стимулами в религиозном рвении фанатиков; для огромного же большинства верующих небо и ад — лишь производные их представлений о добре и зле. Любовь к добру, стремление к добру, неприятие лжи и зла — короче говоря, служение добру и правде всеми делами и помыслами — вот движущий стимул всякой религии. Нечто подобное видим мы и на примере олигархии. Тюрьмы, изгнание и поношение, почести, дворцы и чудо-города — в их системе лишь производное. Основная сила олигархов — уверенность в своей правоте. Разумеется, существуют исключения; ясно также, что власть Железной пяты основана на угнетении и лжи. Все это так. Но для нас важно то, что ныне сила Железной пяты заключается в самодовольном утверждении собственной правоты[117].

Но разве революция за последние страшные двадцать лет не черпала силы единственно лишь в сознании своей правоты? Чем иначе объясните вы наш нескончаемый мартиролог! Разве не этой верой проникнут подвиг Рудольфа Менденхолла, погибшего за революцию и посвятившего ей свою лебединую песнь? Разве не она побудила Гулберта предпочесть предательству смерть под пыткой? Не она ли заставила Анну Ройлстон отказаться от радостей материнства? Не она ли подвигла Джона Карлсона на его верное, бескорыстное служение скромным сторожем при глен-алленском убежище? Да и к кому бы вы ни обратились из тех, кто предан революции, будь то юноша или старик, женщина или мужчина, мудрец или невежда, вождь или скромный рядовой, — все они воодушевлены одной только силой — возвышенным, неугасимым стремлением к истине и добру.

Однако я отклонилась от своего рассказа. Мы с Эрнестом еще до выхода из подполья понимали, в чем заключается сила Железной пяты. С одной стороны, рабочие касты, наемники, полчища тайных агентов, полиция всех видов и оттенков — все это преданно служило Железной пяте; об утерянной свободе они не горевали, и жилось им в общем лучше,

чем раньше. С другой стороны, огромнейшие массы населения — обитатели бездны — все больше погружались в скотскую апатию смирения и безнадежности. Когда среди них появлялись сильные натуры, выделявшиеся из общей массы, олигархи переманивали их и включали в ряды привилегированных рабочих или наемников. Так заранее приглушался всякий протест, и пролетариат терял тех, кто мог стать его вождями.

Положение обитателей бездны было крайне тяжелым. Обязательное школьное обучение на них не распространялось. Они жили, как скот, в обширных грязных рабочих гетто, обреченные на нищету и вырождение. Все их старинные привилегии были у них отняты. Труд стал для них рабской повинностью. Они лишены были права выбирать себе работу, свободно передвигаться по стране, хранить или носить оружие. Если фермеры превратились в невольников, прикрепленных к земле, то рабочие прикреплялись к машинам, к производству. Когда в наемной силе появлялась особая надобность, как это бывает при строительстве шоссейных дорог и авиационных линий, каналов, туннелей, метро и военных укреплений, в рабочих гетто производили насильственный набор, и десятки тысяч пролетариев — хочешь не хочешь — следовали к месту назначения. Вот и сейчас целые армии согнаны на строительство Ардиса. Их разместили в общих бараках, где семейная жизнь невозможна, где быстро отмирает всякое представление о приличии и царят скотские нравы. Поистине, в рабочих гетто притаился ревущий зверь из бездны — зверь, которого олигархи так страшатся. Но они сами его создали, сами разбудили и поддерживают в нем инстинкты тигра и обезьяны.

Ныне объявлено, что предстоит новый набор для строительства Эсгарда — чудо-города, который должен намного превзойти Ардис, когда последний будет окончательно завершен[118]. Мы, революционеры, намерены продолжать это строительство, но оно будет выполняться не руками угрюмых, измученных рабов. Стены, башни и колонны прекрасного города вознесутся ввысь под звуки радостных песен, и его блеск и красота будут напоминать не о стонах и проклятиях, а о музыке и веселии.

Эрнест рвался в широкий мир, чтобы принять участие в подготовке нашего злополучного Первого восстания, которое было впоследствии разгромлено в Чикаго. Приготовления к нему шли полным ходом. Однако Эрнесту пришлось вооружиться терпением, и пока Хедли, специально для этой цели привезенный из штата Иллинойс, производил над ним свои манипуляции, долженствовавшие превратить его в другого человека[119], Эрнест на тот случай, если восстание закончится неудачей, вынашивал грандиозные планы пропаганды революционных идей среди сознательных рабочих, а также планы распространения среди обитателей бездны хотя бы начатков образования.

Только в январе 1917 года удалось нам оставить убежище. Друзья заранее обеспечили мне и Эрнесту возможность легального существования. Мы были зачислены на службу к Железной пяте в качестве тайных агентов. Я считалась сестрой Эрнеста. Товарищи, занимавшие влиятельные посты среди олигархов, достали нам необходимые бумаги. С помощью властей предержащих сделать это было нетрудно, ибо в зыбком, двойственном мире разведки человек становился неуловимой тенью. Тайные агенты появлялись и исчезали, подобно призракам: они выполняли свои обязанности, повиновались распоряжениям, выслеживали, выпытывали и отчитывались перед начальством, хотя никогда, быть может, в глаза его не видели, и сотрудничали с другими агентами, которых видели, быть может, первый и последний раз.

Глава двадцать вторая. Чикагское восстание

Работа провокаторов была связана с разъездами. Кроме того, по своему характеру она требовала постоянного общения с революционерами и рабочими. Это позволяло нам

находиться одновременно в двух лагерях и, числясь агентами Железной пяты, отдавать все силы служению революции. Так было не только с нами. Чуть ли не повсюду в тайной полиции Железной пяты сидели наши люди, и никакими перетрясками и перестройками нельзя было окончательно от нас избавиться.

Первое восстание, назначенное на весну 1918 года, было задумано Эрнестом чрезвычайно широко. Осенью 1917 года подготовка была в самом разгаре. Многое еще оставалось сделать, и начать восстание до срока — значило бы обречь его на неудачу. Наши планы, естественно, отличались большой сложностью, и всякая поспешность могла оказаться для нас роковой. Это понимали и олигархи, и сообразно с этим они и действовали.

Мы рассчитывали первым ударом поразить нервные центры противника. После всеобщей забастовки Железная пята не доверяла телеграфу, и по всей стране были возведены станции беспроволочного телеграфа, порученные охране наемников. Мы со своей стороны парировали этот ход. По данному сигналу самые надежные товарищи в городах, поселках и казармах, а также в многочисленных убежищах должны были начать революционные действия повсеместным взрывом станций беспроволочного телеграфа. Этим мы надеялись сковать Железную пяту, обречь ее на вынужденное бездействие.

В это же время другие группы должны были приступить к взрыву туннелей и мостов и разбору рельсовых путей, чтобы привести в расстройство всю железнодорожную сеть. По тому же сигналу должны были начаться аресты офицеров наемных войск и полиции, а также видных деятелей олигархии и их прислужников. Этим мы рассчитывали обезглавить противника в боях, которые должны были разгореться по всей стране.

Многое должно было произойти по тому же сигналу. Канадские и мексиканские патриоты, чьи силы, кстати сказать, недооценивались Железной пятой, должны были то же самое проделать у себя. Предполагалось, что часть товарищей (женщины по преимуществу, у мужчин найдутся другие задачи) займется расклейкой прокламаций, заготовленных в подпольных типографиях. Наши агенты, занимающие высокие посты в аппарате Железной пяты, посеют анархию и беспорядок в своих ведомствах. Засланные в ряды наемной армии тысячи социалистов взорвут склады боеприпасов и дезорганизуют военную машину. Беспорядок и анархия перебросятся и на города наемников и рабочих каст.

Словом, олигархию ждал внезапный и ошеломляющий удар. Предполагалось, что он окажет такое действие, от которого она уже не опомнится. Разумеется, предстояли бедствия и лишения; мы знали, что будет пролито много крови. Но может ли это остановить революционеров! В своих планах мы отводили место и стихийному восстанию обитателей бездны: пусть гнев их обрушится на города и дворцы олигархов. Не беда, если это приведет к человеческим жертвам и уничтожению ценного имущества! Пусть ярится зверь из бездны, и пусть свирепствуют полицейские и наемники. Зверь из бездны все равно будет яриться, полицейские и наемники все равно будут свирепствовать. И те и другие опасны для революции, лучше им обратиться друг против друга. А мы тем временем займемся своим делом — захватом и освоением государственной машины.

Таков был план, тайно разработанный во всех деталях и по мере приближения срока сообщаемый все большему числу участников. Мы понимали, насколько расширение круга посвященных для нас опасно. На самом деле опасность угрожала нам с другой стороны. Через свою сеть подосланных шпионов Железная пята узнала о готовящемся восстании, и нам решили преподать еще один кровавый урок. Местом расправы был избран Чикаго, и урок мы получили основательный.

Из американских городов Чикаго[120] наиболее созрел для революции. Если его и раньше именовали «городом на крови», то теперь ему вновь предстояло заслужить это название. В жителях Чикаго сильна революционная закваска. Здесь было подавлено столько забастовок, что пролетариат не мог этого ни забыть, ни простить. Даже рабочие касты Чикаго еще не растеряли революционных традиций. Слишком много было пролито крови и разнесено черепов во время последних забастовок. Как ни изменились к лучшему условия их жизни, ненависть к господствующему классу все еще тлела в их сердцах. Духом возмущения были охвачены даже наемники. Три полка в полном составе ждали только сигнала, чтобы перейти на нашу сторону.

Чикаго всегда был горнилом революции, полем битвы между трудом и капиталом. Это был город уличных боев, где насильственная смерть была частой гостьей, где классово сознательным организациям капиталистов противостояли классово сознательные организации рабочих, где даже школьные учителя были давно объединены в профсоюзы и наравне с малярами и каменщиками входили в Американскую федерацию труда. И вот Чикаго стал ареной преждевременно разразившегося восстания.

Беспорядки были спровоцированы Железной пятой. Тут действовал хитрый расчет. С некоторых пор олигархи стали вести себя с населением вызывающе, не делая исключения даже для привилегированных рабочих каст. Обещания и соглашения открыто нарушались, за ничтожные провинности налагались суровые взыскания. Все усилия были направлены на то, чтобы раздразнить зверя из бездны, вывести его из обычного состояния апатии. Железной пяте явно не терпелось услышать его рев. А о мерах для охраны города почему-то забывали, — в этом отношении Железная пята стала вдруг проявлять несвойственное ей легкомыслие. Среди наемников заметно упала дисциплина, и много полков было выведено из Чикаго и отправлено на новые квартиры во все концы страны.

Вся эта программа была выполнена за короткий срок — всего несколько недель. До нас, революционеров, доходили кое-какие слухи, ничего толком не объяснявшие. Мы видели в чикагских неурядицах скорее проявление стихийного протеста, который до поры до времени следовало придержать. Никому и в голову не приходило, что кто-то втихомолку разжигает эти настроения в городе, — все делалось в строжайшей тайне и по указанию таких высоких инстанций, что к нам не просочилось ни единого намека. Словом, встречный маневр Железной пяты был умело подготовлен и умело выполнен.

Я находилась в Нью-Йорке, когда получила приказ немедленно выезжать в Чикаго. Человек, говоривший со мной, — я не знаю его имени и не видела его лица, — судя по голосу и тону, был олигархом. Приказ был настолько ясен, что не оставлял места ни для каких сомнений: наш заговор раскрыт, и под нас подводится контрмина. Остается лишь поднести запал, — целая армия агентов Железной пяты, как местных, так и присланных издалека, вкупе со мной должна заняться этим и произвести взрыв. Смею думать, что под испытующим взором олигарха я ничем себя не выдала, а между тем сердце у меня готово было выскочить из груди. Я еле удерживалась, чтобы не броситься на этого сатрапа и не вцепиться ему в горло, пока он хладнокровно отдавал мне свои напутственные распоряжения.

Оказавшись, наконец, одна, я рассчитала время. До отхода поезда у меня оставались буквально минуты, чтобы повидаться, если посчастливится, с кем-нибудь из здешних лидеров. Убедившись, что за мной не следят, я помчалась в больницу неотложной помощи. По счастью, главный врач Гелвин оказался на месте и немедленно меня принял. Я только что начала, задыхаясь, свой рассказ, как он прервал меня.

— Знаю, — сказал он спокойно, хотя в его выразительных глазах ирландца вспыхивали молнии. — И догадываюсь, зачем вы пришли. Мне рассказали все четверть часа назад, и я уже

доложил кому следует. Всеми силами постараемся хоть здесь удержать товарищей от выступления. Чикаго придется пожертвовать. Хорошо еще, если дело обойдется одним Чикаго.

— А вы пробовали телеграфировать? — спросила я.

Он покачал головой.

— Всякая связь прервана. Город полностью отрезан. Там будет ад кромешный…

Он замолчал, его тонкие белые пальцы судорожно сжимались и разжимались.

— Клянусь жизнью, я дорого бы дал, чтобы быть там! — вырвалось у него со вздохом.

— А может, не поздно и еще удастся что-то сделать? — сказала я. — Если с поездом ничего не случится, я могу оказаться там вовремя. А нет, так подоспеет другой товарищ, посланный за тем же…

— Как же вы все прозевали это? — укоризненно спросил Гелвин.

Я опустила голову.

— Все держалось в строжайшем секрете, — виновато сказала я. — До сегодняшнего дня знали только наверху, а у нас там еще нет никого, вот и прохлопали. Конечно, если бы Эрнест был здесь… Впрочем, возможно, он в Чикаго, и тогда все будет в порядке.

Доктор Гелвин с сомнением покачал головой.

— Насколько я слышал, его услали не то в Бостон, не то в Нью-Хэвен. Секретная служба, как я понимаю, страшно связывает его. Но это все же лучше, чем торчать в убежище.

Я заторопилась, и Гелвин крепко пожал мне руку на прощание.

— Не падайте духом, — напутствовал он меня, — если наше восстание и кончится неудачей. После первого будет второе. И уж в следующий раз мы не ошибемся. Прощайте, желаю удачи. Кто знает, придется ли нам еще свидеться. Там будет ад кромешный. Но я отдал бы десять лет жизни, чтобы оказаться на вашем месте.

«Двадцатый век» [121] отходил из Нью-Йорка в шесть часов вечера и прибывал в Чикаго на другой день в семь утра. Но в эту ночь он запаздывал. Перед нами все время шел какой-то состав. Моим соседом в пульмановском вагоне оказался товарищ Хартмен, работавший в разведке Железной пяты на одном со мной положении. Он и рассказал мне о поезде, идущем впереди. Это был такой же состав, как у нас, но он шел порожняком, без пассажиров. Очевидно, боялись, что на «Двадцатый век», готовится покушение, и в этом случае пострадать должен был пустой состав. Возможностью катастрофы объяснялось и то, что в поезде было не много пассажиров, по крайней мере в нашем вагоне их было раз, два — и обчелся.

— С нами едут какие-то важные особы, — сообщил мне Хартмен. — Вы заметили? Сзади прицепили салон-вагон.

Был уже вечер, когда мы прибыли на какую-то большую станцию, где впервые поменялся паровоз. Я вышла на перрон подышать свежим воздухом и осмотреться и, проходя мимо салон-вагона, заглянула в открытое окно. Хартмен был прав. Мне сразу же бросился в глаза генерал Альтендорф, а с ним еще две знакомые фигуры: Мэзон и Вандерболд, члены главного штаба

разведывательной службы Железной пяты.

Ночь выдалась тихая, лунная, но на душе у меня было неспокойно, и я ни на минуту не сомкнула глаз. Наконец в пять утра я оделась и вышла в коридор.

Горничная в туалетной на мой вопрос сообщила, что мы опаздываем на два часа. Это была мулатка с измученным лицом и ввалившимися глазами. Взгляд их выражал растерянность и затаенный страх.

— Что с вами? — спросила я.

— Ничего, мисс. Это от бессонной ночи, — ответила она.

Я посмотрела на нее внимательно и подала условный сигнал. Ответ не замедлил последовать, и после обычных вопросов я убедилась, что она своя.

— В Чикаго готовится что-то ужасное, — рассказала она мне. — Вы знаете, что впереди совершенно пустой поезд? Из-за него да из-за воинских эшелонов мы опаздываем.

— Воинские эшелоны? — переспросила я.

Она утвердительно кивнула головой.

— Все пути забиты ими. А сколько мы обогнали ночью! И подумать только, что все они направляются в Чикаго. Говорят, войска доставляются даже по воздуху. Значит, дело нешуточное.

— У меня жених в наемных войсках, — добавила она, точно оправдываясь. — Он там от наших, и я очень боюсь…

Бедная девушка! Ее жених служил в одном из полков, готовившихся перейти на нашу сторону.

Мы с Хартменом отправились в вагон-ресторан завтракать, и я с трудом заставила себя сделать хоть несколько глотков. Теперь небо хмурилось, и поезд с грохотом несся вперед, разрывая седую пелену утреннего тумана. Хартмен в это утро склонен был видеть все в черном свете.

— Ну что тут можно сделать? — повторял он в двадцатый раз, угрюмо пожимая плечами. Он показал на окно. — Видите, все наготове. Могу вас уверить, то же самое у них по всем дорогам, ведущим в Чикаго, на расстоянии тридцати — сорока миль от города.

Он говорил о воинских эшелонах, стоявших на всех запасных путях. Вдоль насыпи, вокруг костров, расположились солдаты, готовившие себе завтрак. Они с любопытством поднимали голову, провожая глазами грохочущий поезд, проносившийся мимо с бешеной скоростью.

Когда мы въезжали в Чикаго, там царило полное спокойствие. Видимо, в городе еще ничего не произошло. На пригородных станциях появились в вагоне утренние газеты. В них не было ничего тревожного; и все же тому, кто умеет читать между строк, было над чем призадуматься. Чуть ли не за каждым словом скрывались тайные происки Железной пяты. Повсюду были рассеяны намеки, наводившие на мысль о слабости и растерянности в рядах олигархов. Разумеется, нигде это не было сказано открыто, но читатель волей-неволей проникался этой мыслью. Это была тонкая работа. Утренние газеты от 27 октября можно было бы назвать шедевром мистификации.

Местная хроника отсутствовала — это тоже было весьма ловким ходом. Жизнь города как бы окутывалась тайной, — можно было подумать, что олигархия не решается сказать правду жителям Чикаго. Зато отсутствие городских вестей восполнялось туманными сообщениями о беспорядках, якобы вспыхнувших по всей стране, причем лживые сведения эти, для отвода глаз, сопровождались успокоительными заверениями властей, что повсюду приняты меры для усмирения бунтовщиков. Говорилось о взрывах многочисленных станций беспроволочного телеграфа; мало того, за поимку виновников предлагались крупные награды. На самом деле ни одна станция не была взорвана. Сообщалось и о других случаях того же характера, предусмотренных нашими тайными планами. Словом, газеты были составлены с таким расчетом, чтобы навести наших чикагских товарищей на мысль, будто восстание уже началось, хотя и не повсюду оно протекает благоприятно. Трудно было, не зная всей подоплеки дела, уберечься от ловушки, трудно было не вообразить — мало того, не поверить, что в стране назрела революция и восстание идет полным ходом.

Далее в газетах сообщалось, будто бы волнения среди наемников в Калифорнии настолько серьезны, что пришлось расформировать с полдюжины полков и перевезти мятежников вместе с их семьями в рабочие гетто. А между тем калифорнийские полки были самыми лояльными. Но могли ли это знать отрезанные от всей страны жители Чикаго? Паническая телеграмма из Нью-Йорка сообщала, что там к восставшему населению примкнули рабочие касты. Впрочем, конец телеграммы был сформулирован в успокоительных тонах (очевидно, в надежде, что это будет принято за надувательство): войска якобы овладели положением и в городе водворяется порядок.

Эта тактика проводилась олигархами не только в печати. Как мы узнали впоследствии, провокационные слухи распространялись и другими путями. Так, первую половину ночи олигархи отправляли по различным адресам секретные телеграммы того же содержания с явным расчетом, что они станут известны в революционном лагере.

— По-видимому, тут и без нас обошлись, — сказал Хартмен, складывая газету, когда поезд подошел к главному вокзалу. — Не понимаю, зачем мы им понадобились. У Железной пяты дела идут блестяще. В городе вот-вот начнется резня.

Выходя из вагона, он оглянулся на хвост поезда.

— Так и есть, — пробормотал он себе под нос. — Вагон отцепили, как только были получены утренние газеты.

У Хартмена был такой убитый вид, что я невольно старалась его подбодрить. Но он не обращал на меня внимания, а когда мы проходили через вокзал, вдруг торопливо заговорил, понизив голос.

— У меня давно были подозрения, — начал он довольно бессвязно, — но ничего определенного, и я молчал. Я уже больше месяца бьюсь над этим, и пока все в том же положении — ничего определенного. Берегитесь Ноултона! Я ему не верю! Ноултону известны десятки убежищ, жизнь сотен товарищей в его руках, — а между тем он, по-видимому, предатель. По крайней мере у меня такое чувство, хотя доказательств нет никаких. С некоторых пор с ним что-то произошло — какая-то перемена. Боюсь, что он собирается совершить предательство, если уже не совершил. Я почти убежден… Не следовало бы говорить на авось, но у меня чувство, что живым из Чикаго мне не выбраться. Выследите Ноултона… выведите его на чистую воду. Больше я ничего не знаю. Это простое подозрение. Фактов у меня никаких.

Мы вышли на вокзальную площадь.

— Помните, — сказал мне Хартмен в заключение. — Надо установить за Ноултоном слежку.

Хартмен оказался прав. Не прошло и месяца, как Ноултон заплатил жизнью за предательство. Приговор был вынесен и приведен в исполнение революционерами города Милуоки.

Повсюду царила тишина, зловещая тишина. Казалось, город вымер. На улице не было обычной сутолоки и движения. Даже извозчики не показывались. Трамваи не шли, не действовала и надземная железная дорога. Лишь изредка попадались одинокие прохожие, но и они не задерживались на пути. Все шли торопливо, спеша поскорее добраться до дому, и вместе с тем неуверенно, словно боясь, что дома вот-вот упадут и придавят их своей тяжестью или тротуар провалится у них под ногами, а то еще, пожалуй, взлетит на воздух. Я все же заметила нескольких мальчишек, возбужденно шнырявших по улице, по-видимому, в ожидании каких-то интересных, увлекательных событий.

Откуда-то из южной части города донеслось глухое уханье взрыва, и опять все смолкло. Мальчишки замерли на месте и долго стояли не шелохнувшись, тревожно вслушиваясь в тишину, словно молодые олени. Подъезды домов были заперты, окна магазинов наглухо закрыты тяжелыми ставнями. Некоторое оживление вносили полицейские и дворники, во множестве торчавшие на углах и в подворотнях, да проносившиеся по мостовой автомобили с отрядами наемников.

Мы с Хартменом решили, что нет никакого смысла являться в местное отделение разведки. Это служебное упущение можно будет потом объяснить беспорядками в городе. Мы направились к обширному рабочему гетто, расположенному в южной части города, рассчитывая найти там кого-либо из товарищей. Слишком поздно! Мы это прекрасно понимали. Но нельзя же было бесцельно бродить по пустынным, молчаливым улицам. «Где-то теперь Эрнест? — проносилось у меня в голове. — И что творится в поселках рабочих каст и наемников? А чикагская крепость?..» Словно в ответ, послышался страшный воющий грохот. Приглушенный расстоянием, он долго стоял в ушах, рассыпаясь раскатами отдельных взрывов.

— Это в крепости, — сказал Хартмен. — Пропали наши три полка.

На перекрестке нам бросился в глаза гигантский столб дыма над районом боен. На следующем перекрестке такие же столбы дыма мы увидели над западной частью города. Над поселком наемников качался в небе огромный привязной аэростат. Пока мы смотрели на него, он загорелся и, объятый пламенем, рухнул наземь. Что за трагедия разыгралась над нами в воздухе? Кто погиб в этих горящих обломках — друзья или враги? Теперь ветер доносил к нам какой-то отдаленный гул, напоминавший бульканье гигантского котла. Хартмен сказал, что это оружейный и пулеметный огонь.

Мы по-прежнему шли пустынными, притихшими улицами. В этой части города царило полное спокойствие. Все так же мчались мимо грузовики с полицейскими и военными патрулями да проехало несколько пожарных машин, возвращавшихся в депо. Какой-то офицер, проезжавший мимо в автомобиле, спросил о чем-то пожарных, и мы услышали, как один из них крикнул:

— Нет воды! Взорваны магистрали!

— Мы разрушили водопровод! — в волнении воскликнул Хартмен. — Если нам удаются такие дела при одинокой, преждевременной попытке, обреченной на неудачу, чего же мы достигнем, действуя единым фронтом по всей стране!

Автомобиль с офицером, спрашивавшим о пожаре, двинулся дальше. И вдруг — оглушительный грохот, и машина со всем своим живым грузом взлетела на воздух в густых облаках дыма и

грудой обломков и исковерканных тел ударилась о землю.

Хартмен ликовал.

— Хорошо, отлично! — повторял он взволнованным шепотом. — Сегодня пролетариат получает суровый урок, но и сам он тоже как следует проучит своих учителей.

К месту взрыва бежала со всех сторон полиция. Остановился военный грузовик. Я стояла оглушенная, не в силах понять, что произошло. Ведь я глаз не спускала с той машины, и вдруг… Я была так ошеломлена, что не заметила, как нас задержал полицейский патруль, и очнулась, только увидя револьверное дуло, поднятое в уровень с лицом моего спутника. Но Хартмен не растерялся и спокойно сказал пароль. Револьвер нерешительно качнулся в воздухе и опустился вниз. Державший его полицейский возмущенно ворчал себе под нос, на чем свет стоит кляня разведку. Вечно эти агенты путаются под ногами, говорил он, между тем как Хартмен с апломбом заправского шпика отчитывал полицию за ее бездарность.

Уже в следующую минуту я поняла, как произошел взрыв. Вокруг места катастрофы собралась толпа, и я увидела, как двое мужчин подняли офицера и понесли его к остановившемуся грузовику. И вдруг всех стоявших на улице охватила паника. Толпа дрогнула и рассыпалась в слепом страхе, бросив на дороге раненого офицера. Побежал и наш сердитый полицейский, и мы с Хартменом, сами не зная почему, тоже помчались со всех ног, охваченные паническим страхом.

Однако ничего не произошло, но зато все разъяснилось. Беглецы сконфуженно возвращались назад, опасливо поглядывая вверх, на высокие фасады зданий, поднимавшиеся по обеим сторонам улицы, подобно стенам глубокого ущелья. Значит, бомба была сброшена из окна, — но из какого? Второй бомбы не было — был только страх.

Мы в раздумье поглядывали на окна: в каждом из них притаилась смерть. Каждое здание могло оказаться засадой. Такова была война в современных джунглях — в большом городе. Улицы были глубокими теснинами, каждый дом — скалой. Мы недалеко ушли от первобытных дикарей, хотя по асфальту и мчались автомобили.

Повернув за угол, мы наткнулись на труп женщины, плававший в луже крови. Хартмен наклонился посмотреть, мне же сделалось дурно, я еле держалась на ногах. В этот день мне предстояло увидеть сотни смертей, но самым страшным было это впечатление от валявшегося на тротуаре всеми брошенного и забытого тела.

— Убита наповал выстрелом в грудь, — констатировал Хартмен.

Окостенелой рукой женщина, словно ребенка, прижимала к груди пачку печатных листков. И в смерти хранила она то, что принесло ей смерть: когда Хартмену удалось вытащить пачку из цепких объятий трупа, листки оказались революционными прокламациями.

— Наш товарищ… — сказала я.

Хартмен только яростно выругался, и мы пошли дальше. Нас то и дело останавливали патрули и полицейские заставы, но пароль служил нам надежным пропуском. Из окон не бросали больше бомб, прохожие окончательно исчезли с безлюдных улиц, окружающая тишина стала бездонной. А вдали все так же булькал невидимый котел, со всех сторон грохотали взрывы, и повсюду, куда ни глянь, уходили в небо зловещие столбы дыма.

Глава двадцать третья. Обитатели бездны

И вдруг все изменилось. Улица ожила, чувствовалось приближение чего-то нового. Мимо пронеслись машины — две, три, десять, двенадцать. Нам кричали оттуда какие-то слова предостережения. Одна из машин, полукварталом ниже, на полной скорости шарахнулась в сторону, а в следующую секунду, когда она уже уносилась вдаль, посреди мостовой зияла черная воронка. Мы увидели, как полицейские бросились в боковые улицы, и поняли: сейчас начнется что-то страшное. Нарастающий рев говорил о том, что оно приближается.

— Идут наши славные товарищи, — сказал Хартмен.

Когда показалась головная часть колонны, заполнявшей улицу от края до края, последний удирающий воинский грузовик на минуту задержался. Оттуда выскочил солдат, осторожно неся что-то перед собой. Он подбежал к сточной канаве и опустил в нее ношу, потом поспешно вернулся к своим. Машина снялась с места и, завернув за угол, мгновенно скрылась из виду. Хартмен бросился к канаве и низко нагнулся над ней.

— Не подходите! — крикнул он.

Я видела, как с лихорадочной быстротой делают что-то его руки. Когда он вернулся, пот лил с него градом.

— В порядке, — сказал он. — Только-только успел разъединить. Солдат, видно, неопытный. Он готовил ее для наших товарищей, но она разорвалась бы раньше. Теперь не разорвется!

События быстро следовали одно за другим. Полукварталом ниже, на противоположной стороне улицы, из окна высунулись чьи-то головы. Я едва успела показать на них Хартмену, как по фасаду здания, где они только что мелькнули, полоснуло огнем и дымом, и воздух сотрясся от взрыва, с шумом посыпалась штукатурка, местами обнажая металлический каркас здания. В следующее мгновение такое же полотнище огня и дыма скользнуло по фасаду дома на нашей стороне. Между взрывами слышалась трескотня винтовок и маузеров. Эта дуэль в воздухе длилась несколько минут, потом все затихло. Очевидно, в одном здании засели наши товарищи, в другом — наемники, но кто где, мы не знали.

К этому времени головной отряд колонны приблизился. Едва он поравнялся с домами, обстреливавшими друг друга, как между ними снова завязался бой. Из одного здания вниз полетели бомбы, из другого в упор палили по бросавшим, и те тоже начали отстреливаться. Тогда нам стало ясно, где наши товарищи: они привлекали на себя огонь, мешая неприятелю забрасывать колонну бомбами.

Тут Хартмен схватил меня за руку и увлек в ближайший подъезд.

— Это не наши идут! — крикнул он мне на ухо.

Ворота во двор были заперты на замки и крепкие засовы. Бежать было некуда. Первые ряды уже проходили мимо. Это не было организованное шествие. Разнузданная толпа, многоводной рекой затоплявшая улицу, состояла из обитателей бездны. Одурманенные вином и жаждой мести, они восстали наконец и с ревом требовали крови своих хозяев. Мне и раньше приходилось встречать обитателей бездны. Я бывала в их гетто и думала, что знаю их. Но нет, такими я их еще не видела. Куда девалась их обычная тупая апатия! Вся толпа была охвачена бешеной яростью. Она проносилась мимо клокочущей лавиной гнева, ворча и храпя, опьянев от вина из разграбленных складов, обезумев от ненависти и жажды крови. Передо мной

проходили мужчины, женщины и дети в тряпье и лохмотьях, свирепые существа с затуманенным мозгом и чертами, в которых печать божественного сменилась каиновой печатью. Обезьяны — рядом с тиграми; обреченные смерти чахоточные — рядом с грузными, заросшими шерстью вьючными животными; болезненные восковые лица людей, из которых общество-вампир высосало всю кровь, — рядом с чудовищными мускулами и опухшими образинами, раздутыми развратом и пьянством; иссохшие ведьмы, скалящиеся, убеленные сединами черепа, гниющая заживо юность и разлагающаяся старость, видения из преисподней, скрюченные, изуродованные, искалеченные чудовища, изъеденные болезнями и голодом, — отбросы и подонки, рычащие, воющие, визжащие, беснующиеся орды.

Да, обитателям бездны нечего было терять, кроме своей проклятой, окаянной жизни. А выиграть? Нет, выиграть они тоже ничего не могли, кроме этого последнего судорожного глотка утоляющей мести. Глядя на эту бушующую лавину, я подумала, что среди толпы немало подвижников, наших товарищей, героев, которым выпал жребий разбудить зверя из бездны, чтобы отвлечь на него внимание противника.

И тогда я ощутила в себе странную, удивительную перемену. Страх смерти — страх за себя, за других — внезапно оставил меня. Мною овладел странный экстаз, я чувствовала себя новым существом в новом, небывалом мире. Ничто больше не тревожило меня. Пусть наше дело сегодня проиграно — завтра оно восстанет из пепла, живое, вечно юное. С этой минуты я со спокойным интересом следила за кровавой оргией, которая разыгрывалась передо мной. И жизнь и смерть ничего уже для меня не значили. Казалось, дух мой поднялся на головокружительную высоту, с которой глядят на землю равнодушные звезды, готовый все заново взвесить и переоценить. Если бы не это, я наверняка не выдержала бы.

С четверть часа уже валила мимо толпа, а мы все еще не были обнаружены. Как вдруг женщина, одетая в лохмотья, с испитым лицом и узенькими щелками глаз, со зрачками, как раскаленные буравчики, увидела нас в подъезде и с пронзительными воплями кинулась к нам, увлекая за собой часть толпы. Сейчас, набрасывая эти строки, я снова вижу пред собой простоволосую старуху со взъерошенными седыми космами, с лицом, залитым кровью, стекающей с рассеченного лба. Зажав в правой руке топорик, а левой, сморщенной и желтой, как птичья лапа, судорожно хватая воздух, неслась она на меня, опередив остальных. Хартмен бросился вперед и заслонил меня собой. Вступать в какие-либо объяснения не приходилось. Мы были хорошо одеты, этого было довольно. Выбросив руку вперед, Хартмен кулаком ударил старуху в переносицу. Она отшатнулась, но наступавшая сзади людская стена снова бросила ее на нас, и топорик, занесенный над головой Хартмена, слабо скользнул по его плечу.

В следующую минуту я уже ничего не сознавала. Толпа ринулась на меня и сбила с ног. Маленький подъезд наполнился криком, визгом, неистовыми проклятиями. На меня обрушился град ударов. Чьи-то руки хватали меня, цеплялись, срывали платье. Смятая толпой, я чувствовала, что задыхаюсь под грузом навалившихся сверху тел. В этой страшной свалке чья-то крепкая рука вцепилась мне в плечо и тянула к себе изо всех сил. От боли, от духоты я лишилась сознания. Хартмен так и не вышел больше из этой западни. Заградив меня, он принял на себя первый стремительный натиск. Это спасло мне жизнь. В последовавшей затем давке толпа могла только неистово топтаться на месте и в бешенстве дергать меня и теребить.

Очнулась я уже на ногах. Куда-то я двигалась, но двигалась не только я. Меня непреодолимо увлекал вперед стремительный поток и, словно щепку, уносил по течению неведомо куда. Свежий воздух овевал мне лицо, живительной струей вливался в легкие. Еще не придя в себя, чувствуя слабость и головокружение, я смутно сознавала, что чья-то сильная рука, обхватив за плечи, увлекает вперед, почти несет меня. Без этой помощи я не могла бы идти. Перед глазами у меня мерно колыхалось пальто шедшего впереди мужчины. Кто-то распорол его по шву

сверху донизу, и обе половинки сходились и расходились на спине хозяина в такт его шагам. Завороженная этим странным зрелищем, я ни о чем не думала, а между тем сознание и жизнь постепенно возвращались ко мне. Вскоре по острой, саднящей боли я догадалась, что у меня ободраны нос и щеки, с лица стекает кровь. Шляпа куда-то исчезла, волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Жгучая боль в темени напоминала о том, как в подъезде кто-то ожесточенно дергал меня за волосы. Плечи и грудь ломило, жгло от ссадин и кровоподтеков.

Окончательно придя в себя, я оглянулась на поддерживавшего меня человека, — это он вытащил меня из свалки и спас мне жизнь. Мой спутник заметил, что я смотрю на него.

— Все в порядке! — крикнул он хриплым голосом. — Я сразу увидел вас в толпе.

Я все еще не узнавала его, но ничего не ответила. Мысли мои были заняты другим: я задела ногами что-то мягкое, копошившееся на земле. Задние ряды напирали, и я не могла остановиться взглянуть, но понимала, что это женщина, упавшая и смятая толпой, и что тысячи ног сейчас втопчут ее в землю.

— Все в порядке! — продолжал мой спутник. — Не узнаете? Я Гартуэйт.

Он оброс бородой, исхудал и был неимоверно грязен, но я все же признала в нем славного юношу, который три года назад жил у нас в Глен-Эллене. Он сделал мне знак, говоривший, что он так же, как и я, работает в тайной полиции Железной пяты.

— Я вас вытащу из этой каши, как только представится возможность, — заверил он меня. — Но, ради Бога, будьте осторожны. Главное — не оступиться и не упасть.

Все в этот день происходило с какой-то пугающей внезапностью, — так и сейчас, с внезапностью, от которой у меня похолодело сердце, толпа остановилась. Я налетела на грузную женщину, шедшую впереди (распоротое пальто куда-то успело скрыться), задние налетели на меня. Началось столпотворение — крики, проклятия, предсмертные вопли, заглушаемые дробной стукотней пулеметов и отчетливым ра-та-та-та винтовок. Я долго ничего не понимала. Рядом со мной мешком валились на землю люди. Грузная женщина впереди вдруг согнулась пополам и присела, обхватив руками живот. У моих ног бился в предсмертных судорогах какой-то мужчина.

Тут я поняла, что мы очутились в первых рядах толпы. Куда делась вся головная часть колонны, растянувшаяся на полмили, я так никогда и не узнала. Была ли она сметена каким-то чудовищным орудием войны, или же ее рассеяли и перебили постепенно? А может, ей удалось спастись? Трудно сказать, но только наша часть колонны оказалась впереди, под смертоносным ураганом визжащего свинца.

Как только смерть разделила толпу, Гартуэйт, все еще не выпуская моей руки, ринулся вместе с десятком других бегущих в подъезд какого-то здания. И тотчас же нас настигла и притиснула к дверям груда задыхающихся, лезущих друг на друга тел. Долгое время мы не могли сдвинуться с места.

— Ну и удружил же я вам! — горевал Гартуэйт. — Опять затащил в западню. На улице нам бы наверняка не поздоровилось, но и здесь не лучше. Единственное, что остается, это кричать: «Vive la Revolution!» [122].

И вот началось то, чего он опасался. Наемники расправлялись с бунтовщиками, без жалости пристреливая и прикалывая всех подряд. Мы только что задыхались в давке, а теперь натиск толпы значительно уменьшился, — мертвые и умирающие валились на землю, освобождая

место для живых. Гартуэйт, пригнувшись к моему уху, кричал что-то изо всех сил, но голос его тонул в окружающем шуме, и я ничего не могла разобрать. Тогда он схватил меня за плечи и заставил лечь на землю, потом подтащил тело умирающей женщины и, навалив его на меня, сам с трудом примостился рядом, отчасти прикрывая меня сверху. Едва мы легли, как над нами начала расти гора тел, а поверх этой горы, стеная и судорожно хватаясь за трупы, ползали те, в ком еще не угасла жизнь. Но вскоре и они замерли, и наступило нечто вроде тишины, прерываемой стонами, криками и хрипением умирающих.

Если бы не Гартуэйт, меня бы наверняка раздавили. Я до сих пор не понимаю, что дало мне силы выдержать это испытание и остаться жить. Помню, я изнемогала от боли, задыхаясь под грудой тел, но находила в себе одно только чувство — любопытство. Что будет дальше? Какая кончина меня ждет? В чикагской резне я получила свое революционное крещение. До сих пор смерть была для меня чем-то туманным, далеким. С этих же пор я смотрю на смерть, как на простое, обыденное явление. Ведь это так легко может случиться с каждым!

Наемники все еще не оставляли нас в покое. Сгрудившись в нашем подъезде, они принялись расшвыривать тела убитых в поисках тех, кто был еще жив, или, как и мы, притворился мертвым. Помню, какой-то мужчина униженно просил пощады, и его рабьи мольбы до тех пор не умолкали, пока их не оборвал выстрел. Помню женщину, которая бросилась на солдат с поднятым револьвером. Пока ее схватили, она успела выпустить шесть зарядов, — не знаю, с каким успехом. Лишь звуки рассказывали нам о совершавшихся рядом трагедиях. Поминутно возникало какое-то движение, возня, и каждый раз это кончалось выстрелами. А в перерывах слышались разговоры и ругань солдат, они разбирали груды тел под нетерпеливыми окриками офицеров, приказывавших им торопиться.

Наконец они добрались до нас. Я почувствовала, как постепенно уменьшается давившая меня тяжесть. Гартуэйт сразу же начал выкрикивать пароль. Сначала его не слышали. Тогда он закричал громче.

— Кричит кто-то, — сказал один из солдат.

И тотчас же отозвался офицер:

— Эй, вы там, полегче!

О, первый спасительный глоток воздуха, когда мы оказались на ногах! Все переговоры вел Гартуэйт, но и меня подвергли краткому допросу для выяснения моей личности.

— Верно! Это наши агенты, — решил наконец допрашивавший нас офицер. Это был безбородый юнец, очевидно, сынок какого-то видного олигарха.

— Собачья должность! — ворчал Гартуэйт. — Я не я буду, если не попрошусь в армию. Вам, ребята, можно позавидовать.

— Вы заслужили перевода в армию, — благосклонно ответил молодой офицер. — Постараюсь вам помочь, у меня есть кое-какие связи. Я охотно засвидетельствую, что вам пришлось пережить.

Он записал имя и номер Гартуэйта и обратился ко мне:

— А вы?

— О, я выхожу замуж и скоро развяжусь со всем этим, — небрежно объявила я.

Пока мы разговаривали, солдаты добивали раненых. Сейчас все это кажется сном, но тогда я уже ничему не удивлялась. Гартуэйт и молодой офицер оживленно болтали, сравнивая методы современной войны с тактикой уличных сражений и дуэлями небоскребов, которые происходили сегодня по всему городу. Я прислушивалась к их разговору, поправляя волосы и кое-как скалывая прорехи на платье. И все время вокруг добивали раненых. Иногда гром револьверных выстрелов заглушал вопросы и ответы, и собеседникам приходилось повторять сказанное.

Я провела три дня в восставшем Чикаго и, чтобы дать представление о масштабах расправы и ее жестокости, могу только сказать, что все эти три дня я не видела ничего, кроме беспощадного уничтожения обитателей бездны да еще дуэлей небоскребов. Мне не пришлось быть свидетелем геройских подвигов наших товарищей, я видела только действие их бомб и мин, видела зарево зажженных ими пожарищ — вот и все. Но одно славное их дело частично протекало у меня на глазах — это предпринятая ими воздушная атака на военную крепость противника.

Был второй день восстания. Все три полка, перешедшие на сторону революции, были уничтожены до единого человека. Крепость занял новый гарнизон. Дул благоприятный ветер, и вот с крыши одного из небоскребов в центральной части города поднялись наши аэростаты.

После отъезда из Глен-Эллена Биденбах изобрел взрывчатое вещество необычайной силы, названное им «экспедитом». Этим-то экспедитом и были вооружены наши аэростаты. Это были воздушные шары, наполненные горячим воздухом, — неуклюжая самодельщина; но свою задачу они выполнили. Мне довелось наблюдать это зрелище с крыши одного небоскреба. Первый аэростат отнесло в сторону, и он скрылся за чертой города. Впоследствии мы узнали его судьбу. На нем находились Бертон и О'Салливен. При спуске они оказались над железнодорожным полотном, по которому мчался воинский эшелон, направляясь в Чикаго. Наши аэронавты сбросили весь свой запас взрывчатки на паровоз. Причиненные взрывом разрушения надолго вывели дорогу из строя. По счастью, освободившись от груза, аэростат взмыл вверх, и оба героя опустились на землю милях в шести от места катастрофы.

Второй аэростат постигла неудача. Он летел слишком низко, и пули изрешетили его прежде, чем он успел добраться до крепости. На его борту были Хартфорд и Гиннес. Оба они погибли при страшном взрыве, развороти вшем все поле, на которое рухнул аэростат.

Биденбах был в отчаянии, как нам потом рассказывали, и на третьем аэростате поднялся он один. Шар и на этот раз летел низко, но, по счастью, ни одна пуля не причинила ему серьезного повреждения. Я и сейчас вижу, как видела тогда с высоты небоскреба, неуклюжий раздутый мешок и под ним еле заметную точечку — прицепившегося в корзинке человека. Мне так и не удалось разглядеть крепость среди множества других зданий, но товарищи, бывшие со мной на крыше, говорили, что шар находится как раз над ней. Я не видела также, как смертоносный груз полетел вниз, как только перерезан был прикреплявший его канат. Но зато я увидела, как аэростат сильно тряхнуло в воздухе, после чего он стремительно взмыл кверху. Почти тотчас же огромный черный столб дыма поднялся в небо, застилая горизонт, а следом раздался оглушительный взрыв. Милый, душевный Биденбах один разрушил мощную крепость! Два последних аэростата поднялись вместе. На одном преждевременно взорвался экспедит, и его разнесло в клочья, другой от сотрясения воздуха лопнул и упал на уцелевшие строения крепости. Это была неожиданная удача, хоть она и стоила жизни двум товарищам.

Что касается обитателей бездны, которых мне пришлось наблюдать вблизи, то они свирепствовали и сметали все на своем пути и сами подвергались повальному истреблению, — но только в деловых кварталах города. К западной окраине, где стояли дворцы олигархов, их и

не подпустили. Олигархи сумели защитить себя там, где это было им нужно. Отдав на разгром центр города, они позаботились о том, чтобы ни один волос не упал с их собственной головы или с головы их жен и детей. Мне рассказывали потом, что в дни побоища их дети беззаботно играли в парках: подражая старшим, усмиряли пролетариат.

На долю наемников выпала нелегкая задача: им приходилось наряду с подавлением восставших толп отражать удары социалистов. Чикаго остался верен своим традициям, и хотя здесь с лица земли было стерто целое поколение революционеров, они погибли, унося с собой целое поколение своих врагов. Железная пята, разумеется, не допустила опубликования цифры своих потерь, но, даже по самому скромному подсчету, число убитых наемников достигло ста тридцати тысяч. Но наших товарищей в Чикаго постигла трагическая неудача. Они рассчитывали бороться вместе со всей страной, а оказались предоставлены сами себе, олигархи могли при желании обрушить на них всю свою военную мощь. И действительно, день за днем и час за часом в Чикаго прибывали бесконечные поезда, доставляя все новые сотни тысяч солдат.

Ибо конца не видно было бушующим толпам! Устав от избиений, наемники предприняли обширную операцию, целью которой было загнать людей, переполнявших улицы, в озеро Мичиган. Мы с Гартуэйтом как раз и присутствовали при самом начале этой грандиозной облавы, когда повстречались с молодым офицером. Однако самоотверженными стараниями наших товарищей эти планы были сорваны. Вместо многих сотен тысяч наемникам удалось потопить в озере не более сорока тысяч чикагцев. Каждый раз, как солдатам удавалось загнать большое скопище людей на улицы в районе набережной, революционеры устраивали диверсию, отвлекавшую внимание карателей и позволявшую хоть бы части затравленных толп вырваться из ловушки и бежать.

Вскоре после встречи с молодым офицером мы оказались свидетелями такого маневра. Толпа, которая только что уносила с собой и нас, теперь, под натиском наемников, отступала в беспорядке. Густые цепи солдат мешали ей свернуть на юг и на восток; на запад ей не давали растекаться те отряды, к которым присоединились и мы с Гартуэйтом. Оставалось одно — уходить на север, к озеру, тем более что наемники открыли со всех сторон беглый огонь из винтовок и пулеметов. Трудно сказать, спасительная ли догадка или слепой инстинкт руководили толпой, но у самой набережной она шарахнулась в переулок и, выйдя на параллельную улицу, повернула на юг, стремясь назад, в свое гетто.

Мы пробирались на запад, стараясь выйти из района уличных боев, как вдруг на повороте увидели толпу, которая с ревом неслась нам навстречу. Гартуэйт схватил меня за руку, чтобы броситься ей наперерез, но тут же потащил обратно. И вовремя: мы еле-еле увернулись от колес военных грузовиков с пулеметами, которые мчались прямо на нас. Позади следовали солдаты с винтовками. Казалось, толпа вот-вот сомнет их, прежде чем они успеют построиться.

То тут, то там раздавались отдельные выстрелы, но они были бессильны остановить чернь, которая с гиканьем и свистом неслась вперед. У пулеметчиков что-то не ладилось, и они не открывали стрельбу. Машины, на которых они прибыли, загородили мостовую, и солдаты протискивались между машинами, взбирались на них и заполняли тротуары. Солдат подходило все больше, и нам уже нечего было думать ускользнуть в этой давке; нас прижали к стене какого-то здания.

Когда пулеметы заговорили, толпа находилась уже в десяти шагах. Но перед этой огненной завесой пролегла зона смерти. Толпа все прибывала, не делая ни шагу дальше. Вскоре здесь выросли курганы трупов, курганы слились в насыпь, насыпь превратилась во все растущий вал, в котором умирающие перемешались с мертвецами. Задние напирали — и передние ряды от

края и до края улицы громоздились друг на друга. Раненые мужчины и женщины, выброшенные клокочущей пучиной на этот страшный вал, скатывались с его гребня в мучительных корчах и образовали кровавое месиво, в котором вязли колеса и люди. Солдаты приканчивали раненых прикладами и штыками, но я видела, как один из поверженных вскочил и зубами вцепился в горло врагу. И оба они, солдат и раб, исчезли в страшном водовороте.

Но вот огонь прекратился. Дело было сделано. Обезумевшая толпа, стремившаяся во что бы то ни стало прорваться сквозь преграду, отхлынула назад. Последовал приказ очистить колеса. Всю улицу запрудили мертвые тела, и машины могли только свернуть в переулок. Солдаты принялись освобождать от трупов колеса машин, как вдруг началось что-то непонятное. Потом нам рассказали, что и как произошло. Оказалось, что кварталом дальше в одном из домов засела сотня наших товарищей. Перебираясь по крышам и переходя из здания в здание, они сумели занять удобную позицию над сгрудившимися внизу солдатами. И тогда началось контризбиение.

С крыши градом посыпались бомбы. Высоко в воздух взлетели обломки машин и клочья растерзанных тел. Солдаты, оставшиеся в живых, бросились бежать вместе с нами. Полуквартал дальше нас встретил новый огненный шквал. Если раньше солдаты устилали улицу телами рабов, то теперь они устилали ее собственными телами. Мы с Гартуэйтом только чудом уцелели. Как и раньше, мы укрылись в нише подъезда. Но на этот раз мой спутник решил, что его уже не застанут врасплох: как только затихли выстрелы, он выглянул наружу.

— Толпа возвращается! — крикнул он мне. — Бежим!

Мы побежали на угол, скользя и спотыкаясь на залитом кровью тротуаре. В глубине переулка видны были фигуры бегущих солдат. Никто не стрелял по ним, путь был свободен. На минуту мы остановились и оглянулись назад. Толпа медленно приближалась. Она приканчивала раненых наемников и вооружалась оружием, взятым у мертвецов. И тут мы стали свидетелями смерти спасшего нас молодого офицера. С трудом приподнявшись на локте, он стрелял в толпу из пистолета.

— Прощайте все мои надежды на перевод в армию, — рассмеялся Гартуэйт, увидев, как какая-то женщина, размахивая ножом мясника, бросилась к офицеру. — Ну, бежимте. К сожалению, нам нужно в обратную сторону. Да уж ладно, как-нибудь выберемся.

Мы устремились на восток по притихшим улицам, ожидая нападения на каждом повороте. Вся южная сторона неба была охвачена заревом грандиозного пожара. Горело рабочее гетто. Чувствуя, что я не в силах ступить ни шагу дальше, я в изнеможении опустилась на тротуар. Все мои ссадины и кровоподтеки болели, тело ныло от усталости. И все же я не могла не рассмеяться, когда Гартуэйт, свертывая папиросу, разразился следующей тирадой:

— Эх, болван я, болван! А еще взялся вас выручать, когда тут такой кавардак, что сам черт ногу сломит. Безобразие, беспорядок! Только выберешься из одной беды, как попадешь в другую, похуже. Ведь мы сейчас в каких-нибудь двух-трех кварталах от того подъезда, откуда я вас вытащил. И попробуй — разберись в этой суматохе, кто тебе друг, а кто враг! Все перепуталось. Не угадаешь, кто сидит за этими треклятыми стенами. Сунься-ка только, попробуй — как получишь бомбой по макушке! Ведь, кажется, никого не трогаешь, идешь себе тихонько по своим делам, — так нет же: либо на тебя набежит толпа, и с ней как раз угодишь под пулеметы, либо набегут солдаты, и тогда твои собственные товарищи станут поливать тебя с крыши огнем. А потом все равно налетит толпа, и тут тебе и каюк!

Он горестно покачал головой и, закурив, опустился рядом со мной на тротуар.

— Я так есть хочу, — сумрачно добавил он, — что готов камни грызть. — И сразу же вскочил и, сойдя на мостовую, в самом деле принялся выковыривать булыжник. Потом, вернувшись, стал разбивать им витрину соседней лавки.

— Первый этаж и, значит, никуда не годится, — философствовал он, подсаживая меня в пролом разбитого окна. — Но ничего лучше сейчас не придумаешь. Попробуйте здесь соснуть, а я пойду на разведку. Похоже, что мне все-таки удастся вас спасти, но только на это потребуется время, много времени, и… хоть немного еды.

Мы, оказывается, забрались в лавку шорника. Пройдя в заднюю комнату, окнами во двор, Гартуэйт перенес туда груду конских попон и устроил в углу удобное ложе. У меня, помимо страшной усталости, разболелась голова, и я рада была возможности закрыть глаза и вытянуть усталые ноги.

— Ждите меня назад в самом скором времени, — сказал Гартуэйт, уходя. — Не обещаю возвратиться с машиной, но чего-нибудь поесть обязательно принесу.

Мы свиделись с Гартуэйтом только через три года. Вместо того чтобы вернуться, как обещал, он с простреленным легким и раной в шею попал в больницу.

Глава двадцать четвертая. Кошмар

После бессонной ночи в вагоне, после волнений и усталости страшного дня я крепко заснула, а когда проснулась, стояла глубокая ночь. Гартуэйт еще не вернулся. В давке я потеряла часы и не имела представления о времени. Лежа с закрытыми глазами, я прислушивалась к отдаленному гулу взрывов. Там по-прежнему клокотал ад. Я ползком добралась до витрины. Зарево гигантских пожаров освещало улицу, как днем. При этом свете можно было бы читать газету. В нескольких кварталах от меня рвались гранаты и стучали пулеметы, издали доносился тяжелый грохот взрывов, непрерывно следовавших друг за другом. Я поползла обратно, к своему ложу из конских попон, и снова крепко уснула.

Когда я проснулась, в комнату сочился мутно-желтый свет зари. Наступали вторые сутки чикагской резни. Я опять ползком добралась до витрины. Густая пелена дыма, местами прорезанная багровыми вспышками огня, застилала небо. По противоположному тротуару брел, спотыкаясь, какой-то несчастный раб; одну руку он крепко прижимал к боку, по тротуару вился за ним кровавый след. Глазами, в которых застыл ужас, он боязливо водил по сторонам. На мгновение взгляд его встретился с моим, и я прочла в нем немую жалобу раненного и загнанного животного. Он увидел меня, но между нами не протянулась нить взаимного понимания, верно, ничто во мне не сулило ему дружеского участия. Он еще больше съежился и заковылял прочь. Ему неоткуда было ждать помощи во всем божьем мире. В грандиозной облаве на рабов, которую устроили его хозяева, он был презренным илотом, не больше. Все, на что он надеялся и чего искал, была нора, куда, подобно раненому животному, он мог бы забиться. Резкие звонки кареты скорой помощи, показавшейся из-за угла, заставили его вздрогнуть. Кареты были не для таких, как он. Со страдальческим стоном поспешил он в ближайший подъезд, потом снова вышел и понуро поплелся дальше.

Я опять прилегла на попоны и еще с час провела в ожидании Гартуэйта. Головная боль не проходила, напротив — она усиливалась с каждой минутой. Только с трудом могла я открыть глаза и сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Но и открыть их и смотреть было невыразимо мучительно. В висках стучало. Шатаясь от слабости, я вылезла в витрину и побрела наугад, бессознательно стремясь выбраться из района кровавой бойни. С этой минуты я воспринимала все как в кошмарном сне, и те воспоминания, которые сохранились у меня о

дальнейших событиях, подобны воспоминаниям о кошмаре. Многое навсегда врезалось мне в память, но это только отрывочные картины на фоне густой тьмы. Что происходило в эти минуты полного забвения, я не знаю — и не узнаю никогда.

Помню, на углу я упала, споткнувшись о чьи-то ноги. Это было то самое загнанное существо, которое недавно, изнемогая, тащилось мимо моего убежища. Как сейчас вижу раскинутые на тротуаре бескровные узловатые руки, скорее похожие на лапы или копыта какого-то животного, — искривленные, изуродованные трудом целой жизни, с мозолистыми наростами на ладонях, чуть ли не в полдюйма толщиной. Поднимаясь, я заглянула в лицо этого парии и поняла, что он еще жив. В тусклом взоре бедняги теплилось сознание, и я видела, что он смотрит на меня и видит меня.

После этого я впала в благодетельное забытье. Машинально брела я по улицам, ни о чем не думая, ничего не сознавая, инстинктивно ища спасения. Следующим видением в моем кошмаре была безгласная улица мертвых. Я наткнулась на нее неожиданно, как странник, заблудившийся среди полей и рощ, натыкается на стремительно бегущий ручей. Но только этот ручей был недвижим, он застыл в оцепенении смерти. Заливая всю ширину мостовой и выплескиваясь на тротуары, он простирался почти ровной гладью, над которой здесь и там вздымались островки и бугры тесно переплетенных человеческих тел. Бедные затравленные илоты полегли здесь, словно калифорнийские кролики после грандиозной облавы[123]. Я посмотрела направо, налево — нигде ни движения, ни звука. Многоглазые дома молчаливо взирали на это зрелище. И вдруг из мертвых вод поднялась рука. Клянусь, я видела, как она судорожно задвигалась в воздухе; а вместе с рукой поднялась страшная, вся в запекшейся крови голова, пролепетала мне что-то невнятное и запрокинулась, чтобы не подняться больше.

Помню и другую улицу в рамке молчаливых домов и нарастающий прибой толпы, зрелище которой снова ввергло меня в ужас и вернуло к действительности. Но, вглядевшись, я успокоилась. Толпа с трудом подвигалась вперед, оглашая воздух стонами и рыданиями, бессильными проклятиями, бессмысленным бормотанием старости, истерическими воплями неистовства и безумия. Ибо здесь собрались дети и старики, расслабленные и больные, беспомощные и отчаявшиеся, все человеческие обломки и вся заваль гетто. Пожар выгнал их на улицу, в кромешный ад уличных боев. Куда они направились и что с ними сталось, я так никогда и не узнала[124].

Смутно припоминаю, как, выломав окно, я пряталась в лавке от толпы, преследуемой солдатами. На другой тихой улице, где, кроме меня, не было, по-видимому, ни одного человеческого существа, рядом со мной разорвалась бомба. Следующая вспышка сознания: я слышу щелканье ружейного затвора и внезапно отдаю себе отчет в том, что солдат в остановившейся передо мной машине целится прямо в меня. Пуля просвистела мимо, и я поторопилась сказать пароль и подать условный знак. Не помню, как меня посадили в машину и как долго я ехала в ней, но и эта поездка озарена мгновенной вспышкой сознания. Мой сосед солдат снова щелкает затвором. Я машинально открываю глаза и вижу, как на тротуаре покачнулся и медленно опускается наземь Джордж Милфорд — наш с Эрнестом знакомый со времен Пелл-стрит. Пока он падал, солдат вторично выстрелил. Милфорд перегнулся пополам, потом выпрямился во весь рост и ничком рухнул на мостовую. Солдат усмехнулся и повел машину дальше.

Далее я вижу себя после крепкого, освежающего сна. Меня разбудил человек, беспрерывно расхаживающий взад и вперед по комнате. У него утомленное, измученное лицо, пот градом катится с его лба и стекает по переносице. Рукой он крепко прижимает к груди раненую руку, из которой каплями сочится кровь. Он в форме наемника. Снаружи, сквозь стены, доносится приглушенный грохот рвущихся бомб. Я нахожусь в здании, которое обстреливается из другого

здания.

Вошел врач — сделать раненому перевязку, и я узнаю, что уже два часа пополудни. Голова все еще болит, и врач дает мне сильнодействующее средство, чтобы успокоить сердце и облегчить головную боль. Я снова засыпаю и затем помню себя уже на крыше небоскреба. Перестрелка кончилась. Я наблюдаю налеты аэростатов на крепость. Кто-то держит меня за талию, я крепко прильнула к его плечу, у меня отрадное чувство, что Эрнест опять со мной, я только не могу понять, почему у него опалены волосы и брови.

Счастливый случай свел нас в этом страшном городе. Эрнест не знал, что я уехала из Нью-Йорка, и, проходя по комнате, где я крепко спала, сперва глазам своим не поверил. Больше мне уже не пришлось наблюдать усмирение Чикагского восстания. С крыши, где мы следили за атакой на крепость, Эрнест проводил меня в одну из комнат обширного здания, и здесь я проспала остаток дня и ночь. Третий день мы провели в стенах того же здания, а на четвертый Эрнест, получив у властей разрешение и машину, вывез меня из Чикаго.

Головная боль прошла, но я была страшно измучена душевно и физически. Прислонившись к Эрнесту, я безучастно следила за тем, как солдат-шофер и его помощник искусно маневрируют, стараясь вывести машину из города. Кое-где еще не утихло сражение, но теперь это были уже отдельные очаги. Районы, где еще удерживались наши товарищи, были сплошь оцеплены войсками. Революционеры оказались заперты в сотнях ловушек, и солдаты теснили их шаг за шагом. Поражение для наших бойцов было равносильно смерти, и все они геройски боролись до конца[125].

Едва мы приближались к таким кварталам, патрули преграждали нам дорогу и приказывали ехать в обход. В одном случае нас направили по совершенно выгоревшей улице, где справа и слева находились укрепленные позиции революционеров. Пробираясь мимо тлеющих пожарищ и шатких обгорелых стен, мы слышали по обе стороны гром и грохот войны. Часто путь нам преграждали горы развалин, приходилось поворачивать и пускаться в обход. Так мы кружили по нескончаемому лабиринту развалин и еле-еле подвигались вперед.

Чикагские бойни вместе с прилегающим рабочим гетто сгорели дотла. Далеко направо — там, где дымное облако застилало горизонт, — был пульмановский рабочий городок, вернее, то, что от него осталось, наемники разорили его дотла. Наш шофер побывал там накануне с поручением. По его словам, таких тяжелых боев не было нигде в городе; все улицы завалены мертвецами.

Огибая полуразрушенные стены какого-то строения в районе боен, мы наткнулись на гору трупов, напоминавшую океанский вал. Нетрудно было себе представить, что здесь произошло. Выйдя на перекресток, толпа оказалась под обстрелом пулеметов, косивших ее под прямым углом и в упор. Но и солдатам пришлось не сладко. Очевидно, среди них разорвалась случайная бомба, расстроившая их ряды, и толпа, перехлестнув через вал из трупов, залила неприятельские позиции живым потоком отчаянно дерущихся людей. Солдаты и рабы лежали вперемешку, растерзанные и порубанные, среди обломков машин и брошенных винтовок.

Эрнест выскочил из автомобиля. В груде трупов внимание его привлекла сутулая спина в ситцевой рубашке и венчик серебряных волос. Я ни о чем не спрашивала, и уже потом, когда мы опять сидели рядом и машина увозила нас дальше, он сказал мне:

— Это был епископ Морхауз…

Вскоре мы выехали на зеленое раздолье полей и лугов, и я бросила последний, прощальный

взгляд на дымное небо. Ветер донес до нас слабый гул отдаленного взрыва. Тогда я припала к груди Эрнеста и беззвучно зарыдала, оплакивая гибель нашего великого дела. Рука Эрнеста, обнимавшая мои плечи, говорила мне о его любви красноречивее всяких слов.

— Сегодня, голубка, мы потерпели поражение, — сказал он. — Но это ненадолго. Мы многому научились. Завтра, обогатившись новой мудростью и опытом, великое дело возродится вновь.

Машина подвезла нас к тихому полустанку. Здесь нам предстояло сесть на поезд, идущий в Нью-Йорк. Пока мы дожидались на перроне, прошли три состава, они направлялись на запад, в Чикаго. Все вагоны были набиты чернорабочими в рваной одежде — обитателями бездны.

— Новые партии рабов для восстановления Чикаго! — с горечью воскликнул Эрнест. — Ведь в Чикаго не осталось больше рабов.. Все они перебиты…

Глава двадцать пятая. Террористы

Только спустя много недель после возвращения в Нью-Йорк удалось нам уяснить себе грандиозность постигшей нас катастрофы. В стране не утихали вражда и кровопролитие. Во многих местах вспыхнули восстания рабов, давшие повод к неслыханно жестоким расправам. Список жертв возрастал. Повсюду происходили бесчисленные казни. Люди, преследуемые властями, убегали в горы и пустыни, и за ними шла систематическая охота. Наши убежища были переполнены революционерами, за поимку которых правительство назначило большие суммы. Целый ряд убежищ был выслежен агентами Железной пяты и разгромлен ее солдатами.

Многие из наших товарищей под действием охватившего их разочарования обратились к террору. Крушение всех надежд, отчаяние толкали их на отчаянные средства борьбы. Возникшие повсюду независимо от нас террористические группы причиняли нам немало хлопот[126]. Эти изуверы и фанатики, напрасно жертвовавшие собой, часто срывали наши планы и тормозили разумную организаторскую работу.

И среди всего этого хаоса Железная пята с обычным хладнокровием и уверенностью шла к своей цели. Она обшарила всю страну в поисках укрывающихся революционеров, перетряхнула сверху донизу всю армию, все рабочие касты, органы шпионажа и тайной полиции, карая жестоко, но бесстрастно, молчаливо снося ответные удары, снова пополняя свои ряды, едва они приходили в расстройство.

А между тем Эрнест и другие социалистические лидеры работали не покладая рук над реорганизацией революционных сил. Нетрудно представить себе огромность их задачи, если вспомнить…[127].

[1] Антони Мередит — по замыслу Лондона, человек 27 — го века, первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард. Примечания к тексту романа идут от его имени. (Прим. ред.)

[2] Второе восстание было в значительной степени делом рук Эрнеста Эвергарда, хотя он, конечно, готовил его в тесном контакте с европейскими лидерами. Сам Эвергард был схвачен и тайно казнен весной 1932 года. Однако восстание было так тщательно подготовлено, что товарищам удалось полностью осуществить его планы, избежав растерянности и промедления. Эвис Эвергард после казни мужа уединилась в Уэйк-Робинлодже, небольшой усадьбе в Калифорнии, в Сономских горах.

[3] Здесь, очевидно, имеется в виду усмирение Чикагского восстания.

[4] При всем уважении к Эвис Эвергард мы должны отметить, что муж ее был только одним из многих талантливых руководителей, подготовивших Второе восстание. Теперь, спустя много столетий, можно сказать с уверенностью, что если бы Эвергард остался жив, это бы нисколько не изменило трагической развязки.

[5] Второе восстание действительно приобрело международный характер. Это был поистине грандиозный замысел, и уже потому трудно считать его созданием одного человека. Организованные рабочие всех олигархий готовы были подняться по первому сигналу. Германия, Италия, Франция и вся Австралазия — в то время государства рабочих с социалистическими правительствами — обещали революции свою помощь, и они действительно оказали ее, поэтому разгром Второго восстания стал также и их разгромом. Их правительства были низложены, и объединившиеся олигархии навязали им олигархический строй.

[6] Джон Каннингхем, отец Эвис Эвергард, был профессором Калифорнийского университета в городе Беркли. С преподаванием физики он совмещал исследовательскую работу, которая принесла ему широкую известность. Выдающимся вкладом в науку явились его изыскания в области природы электрона, а также капитальный труд «Тождество материи и энергии», где было незыблемо и на все времена установлено, что элементарная единица материи и элементарная единица энергии тождественны. Положение это до профессора Каннингхема выдвигалось сэром Оливером Лоджем и другими исследователями радиоактивности, но лишь на правах гипотезы.

[7] В те времена на спорт смотрели как на средство наживы. Противники избивали друг друга в кулачных поединках, и боксер, убивший товарища или исколотивший его до полусмерти, получал за это кучу денег.

[8] Намек не ясен. Возможно, имеется в виду слепой от рождения негр-музыкант, концерты которого во второй половине XIX века пользовались огромным успехом.

[9] Фридрих Ницше жил в XIX веке христианской эры. Бесноватый философ, который в минуты прозрения видел причудливые отблески истины, но, обойдя весь положенный круг человеческой мысли, дофилософствовался до полного безумия.

[10] Видный научный деятель конца XIX и начала XX века. Был ректором Стенфордского университета, основанного на частные средства.

[11] Родоначальник идеалистического монизма; его учение, полностью отрицающее материю, ставило в тупик философов того времени. Окончательно отвергнуто философией с тех пор, как в ней восторжествовал метод обобщения данных научного опыта.

[12] Так называли землетрясение, разрушившее город Сан-Франциско в 1906 году хр. эры.

[13] В этом выражении отразился обычай тех времен. Когда один из противников, сцепившихся, подобно диким зверям, в смертельной схватке, складывал оружие, от победителя зависело — умертвить его или оставить ему жизнь.

[14] В те годы немало священников было отлучено от церкви за то, что они проповедовали взгляды, неугодные правящим классам, а особенно такие, которые отражали влияние социалистических идей.

[15] Наемная дворцовая стража Людовика XVI, французского короля, казненного народом.

[16] В то время между коренным населением США и пришлым элементом проводилось резкое и оскорбительное различие.

[17] В течение трехсотлетнего владычества Железной пяты эта книга неоднократно выходила в подпольных изданиях. Несколько экземпляров ее хранятся в Ардисе, в Национальной библиотеке.

[18] В те времена объединения частных собственников грабительски присваивали себе все средства передвижения и за пользование ими взимали с населения плату.

[19] Такие неурядицы были частым явлением в те времена неразумной анархической системы. То рабочие отказывались выходить на работу, то капиталисты отказывались допускать их к работе. Возникали беспорядки и акты насилия, отчего гибло много ценного имущества и человеческих жизней. Все это в такой же мере непонятно нам, как и распространенное в ту пору среди низших классов явление, когда муж, обозлившись на жену, бил посуду и ломал мебель.

[20] Пролетариат — от латинского proletarii. Под этим названием в цензовом кодексе Сервия Туллия значились те римские жители, которые ничего не могли дать государству, кроме своего потомства (proles). Это были люди, не имевшие ни состояния, ни общественного положения, а также не выделявшиеся из общего числа своими способностями.

[21] Кандидат социалистов на пост калифорнийского губернатора во время выборов 1906 года. Англичанин по рождению, автор многих книг по философии и политической экономии, Льюис был одним из руководящих социалистических деятелей своего времени.

[22] Чудовищная эксплуатация женщин и детей на английских фабриках во второй половине XVIII века представляет собой один из самых страшных и позорных эпизодов человеческой истории. Крупнейшие состояния того времени возникли в этой преисподней английской промышленности.

[23] Эвергард мог бы привести и более яркие примеры, вспомнив, как церковь на Юге открыто ратовала за рабовладение в годы, предшествовавшие так называемой Гражданской войне. Приведем здесь несколько примеров из документов того времени. В 1835 году Всеамериканский собор пресвитерианской церкви постановил: «Рабство признано как Ветхим, так и Новым заветом и, следовательно, не противоречит воле всевышнего». В том же 1835 году Чарлстонская община баптистов в своем обращении к верующим провозгласила: «Право господина располагать временем своих рабов освящено творцом всего сущего, ибо он волен любое свое творение передать в собственность кому пожелает». Его преподобие И. Д. Саймон, доктор богословия и профессор Рандолф-Мэконского методистского колледжа в Виргинии, писал: «Текстами священного писания непререкаемо утверждается право рабовладения со всеми вытекающими из него последствиями. Право купли и продажи рабов установлено с полной ясностью. Обратимся ли мы к еврейскому закону, дарованному самим Господом Богом, или же к общепринятым воззрениям и обычаям всех времен и народов, или же к предписаниям Нового завета и его нравственному учению, — повсюду находим мы доказательства того, что в рабовладении нет ничего безнравственного. Поскольку первые рабы, привезенные в Америку из Африки, были законно проданы в рабство, в рабстве должны оставаться и их потомки. Все это убеждает нас в том, что рабовладение в Америке освящено законом». Естественно, что, выступая несколько десятилетий спустя в защиту капиталистической собственности, церковь

прибегала к таким же доводам. В богатейшем Эсгардском книгохранилище имеется труд некоего Генри Ван-Дейка, изданный в 1905 году хр. эры под заглавием «Опыты толкования». Очевидно, Ван-Дейк был видным церковником. Книга его — яркий образчик того, что Эвергард назвал бы «буржуазным мышлением». Сравните заявление чарлстонских баптистов со следующим заявлением Ван-Дейка, сделанным семьдесят лет спустя: «Библия учит нас, что господь — владыка мира, а следовательно, он волен одарить каждого из живущих по своему соизволению, в согласии с существующими законами».

[24] В те времена тысячи полунищих торговцев ходили из дома в дом, предлагая свой товар. Это было, разумеется, нецелесообразным расходованием человеческих сил. В сфере распределения наблюдалась та же бессистемность и хаотичность, которая характеризовала весь общественный уклад в целом.

[25] Ветхий, облезлый домишко — обычное жилье рабочего в те далекие времена. Рабочий вносил домохозяину непомерно высокую плату, нимало не соответствовавшую стоимости такого помещения.

[26] Воровство было в те времена повальным явлением. Каждый старался украсть у другого. Богатые и сильные воровали на законном основании или так или иначе узаконивали свое воровство; бедняки воровали, невзирая на закон. Чтобы уберечь имущество от воров, приходилось нанимать сторожей, и много людей было занято тем, что стерегли чужое добро. Дом каждого более или менее зажиточного человека представлял своеобразное сочетание банковского сейфа, кладовой и крепости. В тех случаях, когда у наших детей проявляется желание завладеть чужой вещью, мы, очевидно, имеем дело с пережитком этой столь распространенной когда-то страсти к хищениям.

[27] Рабочих сзывал на работу и провожал с работы пронзительный, режущий слух свист паровой машины.

[28] Обязанности поверенных корпораций заключались в том, чтобы при помощи жульнических махинаций служить грабительским замыслам и планам своих хозяев. Сохранилось интересное свидетельство Теодора Рузвельта, в то время президента Соединенных Штатов. В 1905 году, на выпускных торжествах в Гарвардском университете, он сказал: «Ни для кого не секрет, что у большинства наших крупных предприятий имеются высокооплачиваемые юристы, чьи остроумные и смелые советы позволяют их богатым клиентам, будь то отдельные лица или корпорации, успешно обходить законы, принятые в интересах общества для упорядочения деятельности крупного капитала».

[29] Яркий пример борьбы за существование, этого основного закона тогдашнего общества. Люди пожирали друг друга, как звери, мелкие хищники становились добычей крупных. В этой волчьей стае Джексон принадлежал, очевидно, к самым смирным и беззащитным.

[30] Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и повадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.

[31] Намек на число голосов, поданных в США за социалистов на выборах 1910 года. Их неуклонный рост свидетельствовал о быстром укреплении революционных сил в Америке. В 1888 году за социалистов в США было подано 2068 голосов; в 1902 — 127 713; в 1904 — 435 040; в 1908 — 1 108 427 и, наконец, в 1910 — 1 688 211.

[32] В условиях волчьей борьбы за существование человек не был уверен в завтрашнем дне,

как бы он ни был богат сегодня. Опасение за участь семьи заставляло его прибегать к различным видам страхования. В наш разумный век подобные мероприятия кажутся до смешного примитивными, но в те времена страхованию придавали большое значение. Характерно, что фонды страховых обществ часто расхищались и растрачивались теми самыми лицами, которые были уполномочены ими ведать.

[33] Задолго до рождения Эвис Эвергард Джон Стюарт Милль в своем очерке «О свободе» писал: «Повсюду, где налицо правящий класс, господствующая мораль в значительной мере определяется его классовыми интересами и чувством классового превосходства».

[34] Подобные каламбуры считались особенностью ирландского остроумия.

[35] В прессе 1902 года часто цитировалось изречение, автором которого считался председатель каменноугольного треста Джордж Ф. Бэр: «Права и нужды трудового народа находятся под защитой добрых христиан, которым Господь Бог, в своей неизреченной мудрости, доверил материальные интересы страны».

[36] Слово «общество» употреблено здесь в ограничительном смысле, как обычное для тогдашних времен обозначение разъевшихся трутней, которые сами не трудились, а лишь пожирали мед, собранный другими. Ни дельцы, ни рабочие не входили в «общество», не располагая для этого ни временем, ни соответствующими возможностями. Игра в «общество» была забавой праздных богачей.

[37] «Несите нам свои грязные деньги» — было лозунгом церкви того времени.

[38] В еженедельнике «Аутлук», популярном органе разоблачительного направления, в номере от 18 августа 1906 года приведен случай с калекой-рабочим, во всех деталях совпадающий с историей Джексона, как она рассказана Эвис Эвергард.

[39] Филоматы (греч.) — любители науки. (Прим. ред.)

[40] В те годы еще не вывелся обычай наполнять комнаты всякими безделушками и украшениями. Преимущество простора не было еще открыто. Комнаты напоминали музей, и стоило огромных трудов содержать их в чистоте. В каждом доме властвовал демон пыли и ему приносились многочисленные жертвы. Существовали тысячи приспособлений для борьбы с пылью, но мало кто думал о том, чтобы вовсе ее не заводить.

[41] В то время были распространены тяжбы между наследниками. Обладателей больших состояний немало беспокоило посмертное устройство их капиталов. За утверждением последней воли завещателя так же неизбежно следовало его нарушение, как за совершенствованием огнестрельного оружия — совершенствование защитной брони. Для составления нерушимых завещаний призывались хитроумнейшие юристы. И все же завещания потом пересматривались, зачастую с помощью тех же самых юристов. Несмотря на это, богачи продолжали тешить себя надеждой, что можно оставить предсмертное распоряжение, нерушимое вовеки. Так завещатели и юристы из поколения в поколение гнались за призраком. Это была такая же несбыточная мечта, как поиски средневековыми учеными философского камня.

[42] Ни с чем не сообразные фантастические писания, рассчитанные на то, чтобы внушить рабочим ложные в корне понятия о паразитирующих классах.

[43] Люди того времени были рабами слов. Нам сегодня трудно представить себе всю степень

их умственного рабства. Слова оказывали на них магическое действие, с которым не сравнится никакое искусство заклинателя. Мозг этих людей был так затуманен, в мыслях царил такой хаос, что достаточно было одного брошенного слова, чтобы опорочить в их глазах самые здравые выводы и обобщения, плоды трудов и поисков целой жизни. Такую магическую силу имело тогда слово «утопия». Произнести его значило перечеркнуть любое экономическое учение, любую теорию преобразования общества, как бы она ни была разумна. Целые поколения носились с такими фразами, как: «Беден, но честен» или: «Умывальники и чистые полотенца для рабочих». В изобретении подобных фраз и словечек видели чуть ли не проявление гениальности.

[44] Первоначально — частные сыщики, вскоре превратившиеся в наемных охранников капитала; впоследствии они составили наемную армию олигархии.

[45] Патентованные средства были патентованным шарлатанством. Это был такой же грубый обман доверчивого потребителя, как и амулеты или индульгенции средних веков, с той лишь разницей, что патентованные средства стоили дороже и приносили больше вреда.

[46] Сейчас и представить себе трудно, что еще в 1912 году преобладающее большинство народа упорно верило, будто, опуская в урны избирательные бюллетени, оно управляет страной. В действительности страной управляли боссы при помощи своих политических машин. Вымогая у капиталистов огромные взятки, боссы добивались угодных им законов; однако вскоре капиталисты предпочли взять политические машины в свои руки и выплачивать боссам жалованье.

[47] По данным Роберта Хантера, опубликованным в его книге «Нищета» (1906), в Соединенных Штатах того времени десять миллионов человек влачило нищенское существование.

[48] Переписью 1900 года (последней, результаты которой были преданы гласности) установлено, что в Соединенных Штатах занято на фабрично-заводской работе 1 752 187 детей.

[49] Сравните с этим заявлением следующее место из «Словаря циника» (1906 г. хр. эры) некоего Амброза Бирса, известного мизантропа той эпохи: «Картечь (существительное ед. числа, ж. рода) — ответ, который готовит будущее на требования американских социалистов».

[50] В кандалы заковывали африканских рабов и преступников; полностью вышли из употребления только в эру Братства людей.

[51] Немало людей, подобно Эвергарду и задолго до него, улавливали эти тени будущего, хотя и представить себе не могли, что оно несет с собой. Так, Джон Кэлхун говорил: «В наше время у власти стоят силы, с которыми народу трудно тягаться, ибо они представляют собой множество разнообразных могущественных интересов, спаянных воедино огромными банковскими прибылями». Напомним также известные слова великого человеколюбца Авраама Линкольна, сказанные им незадолго до своей гибели: «В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны… Приход к власти корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, — а тогда конец республике».

[52] Книга эта, под заглавием «Экономика и образование», вышла в том же году. Сохранилось всего лишь три ее экземпляра, два в Ардисе и один в Эсгарде. В ней на основе многочисленных

фактов была подвергнута детальному анализу одна из сторон практики воинствующего капитализма, а именно классовый характер университетского и школьного образования в США. В целом книга представляет собой уничтожающий обвинительный акт, направленный против всей системы американского образования, которое внедряло в умы учащихся только идеи, не опасные для капиталистического строя, и изгоняло все, ведущее к его критике и ниспровержению. Появление книги вызвало сенсацию, и власти немедленно конфисковали ее.

[53] Полное название организации установить не удалось.

[54] От Беркли до Сан-Франциско было несколько минут езды паромом. Все города, расположенные у бухты Сан-Франциско, представляли собой одну общину.

[55] Оскар Уайльд, один из корифеев поэзии XIX столетия хр. эры.

[56] Перевод Б. Лейтина. (Прим. ред.)

[57] Обычный прием конкуренции — продажа товара по себестоимости или даже в убыток. Крупные предприятия шли на это с большей легкостью, чем мелкие, которым поневоле приходилось закрываться.

[58] В то время немало было потрачено усилий на организацию разоряющегося фермерства в политическую партию, ставившую себе целью решительную борьбу с трестами при помощи законодательных мероприятий. Все эти попытки ни к чему не привели.

[59] Первое мощное объединение трестов, чуть ли не на полвека опередившее другие.

[60] Банкротство — своеобразный юридический институт, который позволял должнику, потерпевшему крах в условиях промышленной конкуренции, уклониться от уплаты долгов. В обществе, где борьба шла не на жизнь, а на смерть, банкротство зачастую играло роль спасительной лазейки.

[61] Habeas corpus act (лат.) — закон о неприкосновенности личности. (Прим. ред.)

[62] Характеризуя закон 1903 года о национальной гвардии, Эвергард допустил только одну неточность: законопроект был внесен в конгресс не 30 июля, а 30 июня. В «Протоколах конгресса» приведены следующие даты официального прохождения билля: 30 июня, 9, 15, 16, 17 декабря 1902 и 7, 14 января 1903 года. Неудивительно, что дельцы, собравшиеся у профессора Каннингхема, ничего не знали о законе, — он был мало кому известен в стране. Книжка Э. Винтермана 1903 года «Билль о национальной гвардии» (вышла в г. Джирарде, штат Канзас) получила некоторое распространение среди рабочих. Однако пропасть между различными классами была в то время так велика, что читателю средних классов брошюра осталась неизвестной.

[63] Здесь правильно указана главная причина рабочих беспорядков того времени. При разделе новой стоимости между трудом и капиталом каждая из сторон стремилась получить возможно больше. Это было непримиримое противоречие. Пока существовала капиталистическая система производства, конфликты между обеими заинтересованными сторонами по вопросу о разделе новой стоимости не прекращались. Нам это сейчас кажется смешным, но нельзя забывать, что речь идет о событиях и нравах семивековой давности.

[64] За несколько лет до описываемых событий тогдашний президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт заявил: «Необходима более либеральная и гибкая политика в вопросах купли

и продажи, для того чтобы наши излишки производства могли с успехом экспортироваться за границу». Под «излишками производства» здесь, конечно, разумеются товары, которые остаются в распоряжении капитала, после того как все его нужды и потребности удовлетворены. По словам сенатора Марка Хенна, относящимся к тому же времени, «ежегодное производство товаров в США на одну треть превышает ежегодное их потребление». Его коллега, сенатор Чонси Депью, заявил: «Американцы ежегодно производят ценностей на два миллиарда долларов больше, чем они в состоянии потребить».

[65] Первый известный нам случай, когда олигархия была названа этим именем.

[66] В своем подразделении общества на классы Эвергард следует одному из самых видных статистиков своего времени, Люсьену Сэниелу. Последний, на основании переписи Соединенных Штатов 1900 года, так определял численность населения по занятиям: плутократия — 250 251, средний класс — 8 429 845, пролетариат — 20 393 137 человек.

[67] О тресте «Стандард Ойл» и его владельце Рокфеллере см. примечание ниже.

[68] Еще в 1907 году принято было считать, что Соединенными Штатами управляют одиннадцать могущественных групп, но после того как пять железнодорожных трестов слились в единую железнодорожную корпорацию, число их снизилось до семи. Вот перечень пяти объединившихся компаний с указанием их политических и финансовых руководителей: 1) Джемс Хилл, захвативший всю железнодорожную сеть Северо-Запада; 2) Пенсильванская железнодорожная группа, поддерживаемая крупнейшими банками Филадельфии и Нью-Йорка с Джейкобом Шиффом в качестве финансового директора; 3) Гарриман, объединивший под своим контролем центральные и юго-западные железные дороги, а также дороги Южно-Тихоокеанского побережья — юрисконсульт Фрик, политический руководитель Оделл; 4) Группа железных дорог, принадлежащих семейству Гулд, и 5) Мур, Рейд и Лидс — так называемая Рок-Айлендская группа. Все эти могущественные олигархии оказались победителями в условиях конкуренции, и все они следовали по неизбежному пути объединения.

[69] Организации, цель которых — подкуп, растление и запугивание депутатов, законодателей и других так называемых «народных представителей.

[70] За десять лет до Эвергарда то же самое утверждала нью-йоркская торговая палата, из отчета которой мы заимствуем следующее: «Железнодорожные компании контролируют законодательство большинства наших штатов. Они назначают и смещают сенаторов, депутатов и губернаторов и, как диктаторы, определяют всю правительственную политику».

[71] Рокфеллер вышел из рабочей среды. Удачливый и ловкий делец, он стал основателем первого настоящего треста, пресловутого «Стандард Ойл». Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь любопытную страничку из журнальной хроники тех времен, чтобы показать, как свободные капиталы «Стандард Ойл», искавшие применения, вытесняли отовсюду мелких капиталистов, способствуя тем самым краху капиталистической системы в целом. Автор этого отрывка — радикальный журналист Дэвид Грейм Филиппс; статья была напечатана в «Сатэрдей ивнинг пост» от 4 октября 1902 года. Это единственный дошедший до нас номер журнала, который, судя по внешнему виду и содержанию, пользовался широкой популярностью и выпускался большим тиражом. Вот этот отрывок: «Лет десять назад доходы Рокфеллера, по сообщению авторитетных лиц, составляли тридцать миллионов в год. Нефтяная промышленность была насыщена капиталовложениями до отказа, а между тем на имя одного лишь Джона Дэвисона Рокфеллера поступало ежемесячно два миллиона чистоганом. Вопрос о

дальнейшем помещении прибылей становился все более серьезным, можно сказать, угрожающим. Доходы нефтяной промышленности росли и росли, а возможности для новых надежных вложений становились все ограниченнее, — их было даже меньше, чем сейчас. Проникновение Рокфеллеров во все новые отрасли промышленности диктовалось не столько их ненасытной жадностью, сколько стремлением дать выход неуклонно нарастающему прибою миллионов, которые нефтяная монополия притягивала, как магнит. Решением этой задачи был занят целый штаб изыскателей и разведчиков. Как говорят, начальник этого штаба получал сто двадцать пять тысяч в год. В первую очередь новые флибустьеры заявили о себе в железнодорожном деле. В 1895 году Рокфеллеры контролировали уже одну пятую всей железнодорожной сети США. А что можно сказать об их нынешних владениях? Рокфеллерам подвластны почти все железнодорожные линии, веером расходящиеся от Нью-Йорка на север, восток и запад, за исключением одной, в которой им принадлежит пай всего в несколько миллионов. Они контролируют большую часть разветвленных железных дорог, скрещивающихся в Чикаго, а также тех, что тянутся на запад, к Тихоокеанскому побережью. Это их поддержке обязан своим могуществом мистер Морган, хотя они, пожалуй, больше нуждаются в его советах, чем он в их поддержке. Вот уж поистине где чувствуется „общность интересов“! Но одно только железнодорожное дело не могло поглотить эти каскады золота. Доходы Джона Д. Рокфеллера продолжали расти с двух с половиной миллионов до четырех, пяти и шести миллионов в месяц — до семидесяти пяти миллионов в год. Керосин приносил сказочные доходы. Новое инвестирование барышей добавляло к этой прорве денег свою ежегодную многомиллионную лепту. Как только газ и электричество стали доходным делом, Рокфеллеры бросили сюда свои капиталы, и с той поры каждый американец, чуть стемнеет, становится данником Рокфеллеров, каким бы освещением он ни пользовался. Рокфеллеры занялись кредитованием фермеров, предоставляя им ссуды под залог земли. И когда фермерам во времена недавнего процветания удалось расплатиться по закладным, Джон Д., говорят, с досады чуть не плакал. Восемь миллионов, которые он так удачно пристроил, казалось бы, на долгие годы и за большой процент, вдруг снова повисли у него на шее и теперь хныкали, прося найти им пристанище. Какая обуза для человека с безнадежно испорченным пищеварением, человека, который и без того сбился с ног, пристраивая на хорошие местечки потомство своих нефтяных дивидендов, и потомков их потомков, и потомков этих новых потомков! Рокфеллеры занялись горнорудным делом — железо, уголь, медь, свинец, не пренебрегая и другими видами промышленности. Трамвай, займы — государственные, городские и по отдельным штатам, грузовое и пассажирское пароходство, телеграф, спекуляция земельными участками и застройка целых городских кварталов — небоскребы, доходные дома, здания под конторы и банки, наконец страховое и банковское дело. Вскоре в Америке не осталось ни единого уголка, куда бы не проникли миллионы Рокфеллеров. Их „Нэйшнэл сити банк“ принадлежит к крупнейшим в Соединенных Штатах, с ним могут поспорить разве только Английский и Французский государственные банки. Вклады в этот банк составляют в среднем свыше ста миллионов долларов в день. Он контролирует биржу на Уолл-стрите и весь денежный и фондовый рынок. Но это не единственный банк Рокфеллеров, он возглавляет целую сеть богатых и влиятельных отделений во всех деловых центрах страны — четырнадцать в одном Нью-Йорке! У Джона Д. Рокфеллера одних только акций „Стандард Ойл“ по биржевому курсу — на сумму от четырехсот до пятисот миллионов долларов, сто миллионов в Стальном тресте, почти столько же в одной из Тихоокеанских железных дорог да половина этой суммы в другой — и так далее, и так далее, всего не перечтешь. Его доходы за прошлый год достигли сотен миллионов долларов — а это, пожалуй, больше, чем доходы всех Ротшильдов, вместе взятых. И они растут не по дням, а по часам».

[72] «Черными сотнями» назывались шайки громил, которые обреченное на гибель самодержавие организовало для борьбы с русской революцией. Эти шайки нападали на революционеров, а также бесчинствовали и грабили, чтобы дать властям повод пустить в дело

казаков.

[73] Капиталистическая система производства неизбежно приводила к кризисам, которые ввергали народ в бедствия столь же неизбежные, как и бессмысленные. За периоды процветания он расплачивался периодами экономического застоя и безработицы, вызванными перепроизводством.

[74] Штрейкбрехеры во всем, кроме названия, были частной армией капиталистов. Их хорошо вымуштрованные, вооруженные до зубов отряды по первому требованию перебрасывались в любой конец страны, где рабочие объявляли предпринимателю стачку или же где предприниматель объявлял рабочим локаут. В те удивительные времена не раз случалось, что какой-нибудь предводитель штрейкбрехеров, вроде пресловутого Фарли, вместе со своей армией из двух с половиной тысяч хорошо снаряженных и вооруженных молодцов садился в специальный поезд и мчался через весь континент — из Нью-Йорка в противоположный конец страны, — чтобы сломить забастовку, как это было, например, во время стачки вагоновожатых Сан-Франциско. Все это находилось в вопиющем противоречии с существующими законами, но капиталистам и не такие беззакония сходили с рук, так как американский суд был в полном подчинении у плутократии.

[75] «Загнать на скотобойню» — ходячее выражение того времени, обозначавшее насильственный разгон рабочей демонстрации. Вошло в обиход с тех пор, как во время одной из горняцких забастовок в Айдахо в конце XIX века рабочие были загнаны войсками в скотобойню и там избиты. Как выражение, так и само мероприятие перекочевало и в XX век.

[76] Чисто американские организации — только название перенесено в Америку из России; черные сотни вербовались из многочисленных тайных агентов, которых капитализм уже в XIX веке широко использовал в борьбе с рабочим движением. Это подтверждается свидетельством хотя бы такого высокоавторитетного современника, как Кэролл Д. Райт, государственный уполномоченный по вопросам труда. В своей книге «Рабочее движение» он отмечает, что «во время особенно памятных нам грандиозных забастовок предприниматели умышленно вызывали рабочих на акты насилия»; компании часто сами провоцировали забастовки, чтобы избавиться от товарных излишков; во время железнодорожных забастовок агенты компаний поджигали товарные вагоны, стремясь создать впечатление беспорядков. Из этих тайных агентов и возникли черные сотни. Впоследствии олигархия использовала их как провокаторов — одно из самых страшных своих орудий.

[77] Одна из старейших улиц Нью-Йорка, где помещалась фондовая биржа. Здесь под прикрытием господствовавшего в то время экономического хаоса совершались незаконные сделки, предметом которых служила промышленность всей страны.

[78] Один из первых кораблей, на которых вскоре после открытия Нового Света прибыли в Америку колонисты. Потомки этих ранних поселенцев чрезвычайно гордились своей родословной. Однако с течением времени семя их рассеялось по всей стране, так что, в сущности, каждый американец мог считать, что в его жилах течет кровь первых колонистов.

[79] Имя автора стихотворения, известного нам только по этому отрывку, навсегда утеряно.

[80] Перевод Б. Лейтина. (Прим. ред.)

[81] Мексиканское блюдо, часто упоминаемое в книгах того времени. Очевидно, обильно сдабривалось пряностями. Рецепт его приготовления до нас не дошел.

[82] Уильям Рандолф Херст, молодой калифорнийский миллионер, один из влиятельнейших издателей страны. Его газеты, выходившие во всех больших городах США, были рассчитаны на массового читателя — рабочих и средний класс. Популярность Херста выдвинула его в первые ряды демократической партии, которая давно уже была демократической только по названию. Политическая программа Херста, демагогически сочетавшая проповедь некоего выхолощенного социализма с мелкобуржуазной апологетикой капитала, представляла собой нечто ни с чем не сообразное. Несмотря на явную нелепость этой программы, пытавшейся соединить несоединимое, плутократы одно время серьезно побаивались Херста.

[83] В те времена экономической анархии реклама стоила очень дорого. Конкурировали друг с другом только небольшие фирмы — они-то и нуждались в рекламе. Тресты были вне конкуренции.

[84] Исчезновение свободного римского крестьянства не было таким стремительным процессом, как гибель американского фермерства и мелких капиталистов. Да и неудивительно: древний Рим не знал тех движущих сил, какие действовали в экономике XX века. Многие фермеры, охваченные безрассудной привязанностью к своему клочку земли, готовы были вернуться к первобытным формам жизни. Чтобы избегнуть экспроприации, они ничего не продавали и не покупали, довольствуясь примитивным товарообменом, и на этой почве возникло даже целое движение. Никакие трудности и лишения не могли поколебать их упорства. Но все эти героические усилия не помешали плутократии разделаться с фермерами самым элементарным и нехитрым способом. Пользуясь своим влиянием на правительство, она повысила налоги и этим ударила фермеров по их наиболее уязвимому месту. Отказавшись от всякой торговли, они не располагали деньгами, и в конце концов их земля и имущество были проданы за недоимки.

[85] Это подземное клокотание и гул были явственно слышны уже в течение многих лет. В 1906 году хр. эры англичанин лорд Эвербери выступил в палате лордов со следующим заявлением: «Неутихающие беспорядки в Европе, распространение социалистических идей и зловещий рост приверженцев анархизма являются грозным предостережением правительствам и правящим классам о том, что условия существования трудящихся стали невыносимыми, а потому, во избежание революции, необходимо принять меры для увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня и снижения цен на предметы первой необходимости». Орган американских биржевиков «Уоллстрит джорнэл», цитируя речь лорда Эвербери, сопроводил ее следующим комментарием: «Эти слова принадлежат английскому аристократу, члену самого консервативного законодательного учреждения в Европе. Тем более следует к ним прислушаться. В них гораздо больше политической и экономической мудрости, чем в любом ученом трактате, написанном на эту тему. В словах лорда Эвербери слышится предостережение. Нашим работникам военного и морского ведомства есть о чем подумать!» Американец Сидней Брукс одновременно писал в журнале «Харперс уикли»: «В Вашингтоне никто не думает о социалистах. Да оно и понятно. Наши политики всегда последними узнают о том, что творится у них под носом. Они смеются надо мной, когда я предрекаю — и предрекаю с полной уверенностью, — что на следующих президентских выборах у социалистов окажется не меньше миллиона голосов».

[86] В самом начале XX в. хр. эры интернациональная организация социалистов сформулировала наконец свое отношение к войне. Вкратце ее антивоенная резолюция сводилась к тому, что «Рабочим различных стран нет смысла воевать друг с другом в угоду их хозяевам, капиталистам». 21 мая 1905 года, когда между Австрией и Италией назревал военный конфликт, социалисты Италии и Австро-Венгрии, собравшись на конференцию в Триесте, угрожали, что в случае войны будет объявлена всеобщая забастовка в обеих странах.

То же самое повторилось и в следующем году, когда так называемый Марокканский инцидент грозил вовлечь в войну Францию, Германию и Англию.

[87] Книга У. Дж. Гента «Наш благодетельный феодализм» вышла в 1902 году хр. эры. В литературе надолго установилось мнение, будто крупные капиталисты почерпнули из этой книги идею олигархии. Взгляд этот упорно держался в течение всех трех веков существования Железной пяты и даже в течение первого века эры Братства людей. В настоящее время, когда нелепость этого утверждения очевидна, нам остается только посочувствовать Генту, на которого история возвела такой поклеп.

[88] Вот несколько характерных судебных постановлений того времени. В каменноугольных районах широко применялся детский труд. В 1905 году хр. эры рабочим организациям штата Пенсильвания удалось добиться закона, требующего от детей при поступлении на работу, помимо клятвенного заверения родителей, также и официальной справки о возрасте и образовании. Закон этот был объявлен судом города Люцерна неконституционным: он якобы нарушает 14 — ю поправку к конституции, ибо проводит дискриминацию между лицами одной категории, — в данном случае между детьми старше и моложе четырнадцати лет. Суд штата подтвердил это решение. Специальная сессия нью-йоркского суда в 1905 году хр. эры объявила неконституционным закон, воспрещающий детям и женщинам работу на фабрике после десяти часов вечера на том основании, что закон этот носит «классовый характер». В крайне неблагоприятных условиях работали пекари. Наконец нью-йоркским законодательным собранием был издан закон, ограничивающий работу в пекарнях десятью часами. Верховный суд Соединенных Штатов в 1905 году признал этот закон не соответствующим конституции. В решении суда, между прочим, говорилось: «Сокращение рабочего дня пекарей является недопустимым вмешательством в право каждого лица на свободное заключение договоров, тем более, что никакого основания для такого вмешательства нет».

[89] Джемс Фарли заслужил в свое время печальную известность как вожак штрейкбрехеров. Беспринципный авантюрист, не лишенный мужества и кое-каких способностей, он во времена Железной пяты был удостоен почестей и наград, а со временем даже сопричислен к лику олигархов. В 1932 году его настигла месть Сарры Дженкинс, муж которой за тридцать лет до этого был убит штрейкбрехерами из организации Фарли.

[90] Нельзя не удивляться необыкновенной прозорливости Эвергарда. Так же ясно, как будто, уже оглядываясь на прошлое, предвидел он отпадение ведущих профсоюзов, усиление и постепенное разложение рабочих каст и борьбу за государственную власть между ними и разлагающейся олигархией.

[91] Еще одно поразительное свидетельство прозорливости Эвергарда. Он предвидел создание таких городов, как Ардис и Эсгард, задолго до того, как мысль о них возникла у олигархов.

[92] Со времени этого предсказания прошло три века владычества Железной пяты и четыре века эры Братства людей, а мы все еще пользуемся дорогами и живем в городах, воздвигнутых при олигархии. Правда, мы теперь строим еще более прекрасные города, но города олигархов стоят и поныне, и я пишу эти строки в Ардисе, самом великолепном из них.

[93] В блок с олигархией вступили все союзы железнодорожников. Небезынтересно отметить, что одной из первых рабочих организаций, практиковавших в XIX веке такое «участие в грабеже», было «Братство паровозных машинистов». «Великим вождем» этого братства в течение двадцати лет был П. М. Артур. После стачки на Пенсильванской железной дороге в 1877 году он предложил компании такие условия, которые ставили его союз в исключительно

благоприятное положение по сравнению с другими рабочими организациями. В ознаменование этой неблаговидной, хотя и чрезвычайно выгодной сделки и для обозначения шкурнической политики профсоюзов возник новый термин — «артуризация». Происхождение этого слова, долго остававшегося загадкой для наших языковедов, впервые получает, таким образом, удовлетворительное объяснение.

[94] Олберт Покок, так же как и Фарли, — один из знаменитых штрейкбрехеров своего времени. Гроза горняков, он до последнего своего издыхания держал их в беспрекословном повиновении. После смерти главы семьи обязанности его унаследовал сын, Льюис Покок, и так в течение трех поколений эта примечательная династия укротителей рабов деспотически правила углекопами. Сохранилось следующее описание внешности Покока-старшего, известного также под именем Покока Первого: «Длинный узкий череп, окаймленный бахромой рыжеватых седеющих волос, лицо скуластое, с тяжелым подбородком, щеки бледные, тусклые серые глаза, скрипучий голос, движения замедленные». Покок Первый родился в бедной семье и начал свою деятельность буфетчиком в баре. Затем поступил в трамвайную компанию частным сыщиком и постепенно специализировался по части штрейкбрехерства. Последний в роде, Покок Пятый, был убит бомбой, взорвавшейся на водокачке во время одного из малозначительных шахтерских восстаний на Индейской территории в 2073 году хр. эры.

[95] При организации боевых групп весьма пригодился и опыт русской революции; несмотря на неустанную борьбу, которую вела с ними Железная пята, они просуществовали триста лет, до самого ее падения. Эти организации, состоявшие из мужчин и женщин, воодушевленных высокой целью и презирающих смерть, были в свое время могучей силой, сдерживавшей разнузданную жестокость правителей. Их деятельность не ограничивалась подспудной войной с тайными агентами олигархии. Самим олигархам приходилось выслушивать приказы боевых групп и нередко платиться головой за ослушание, не говоря уже об их подчиненных, офицерах армии или руководителях рабочих каст. Суд мстителей был суров, но беспристрастен и справедлив. Он не допускал скоропалительных приговоров и решений. Если обвиняемого удавалось захватить, его судили по справедливости, предоставляя ему возможность защищаться. Но, разумеется, многие дела разбирались и решались заочно, как это было, например, с генералом Лэмптоном (2138 г. хр. эры). Один из самых кровожадных и злобных прислужников Железной пяты, генерал Лэмптон, был извещен, что боевые группы судили его, признали виновным и приговорили к смерти, причем заявление это последовало после трех предупреждений, призывавших его прекратить издевательства над рабочими. Узнав о приговоре, генерал не пожалел средств для обеспечения своей безопасности. Проходили годы, а боевым группам не удавалось до него добраться. Много наших товарищей, как мужчин, так и женщин, заплатили за свои попытки мучительной смертью. Специально в защиту генерала Лэмптона была восстановлена казнь на кресте как законная мера наказания. В конце концов изверга покарала слабая рука хрупкой семнадцатилетней Мадлены Прованс, которая два года работала с этой целью швеей у него во дворце. Мадлена умерла в одиночном заключении, после нескончаемых страшных пыток. Ныне, увековеченный в бронзе, юный образ ее украшает Пантеон Братства людей в прекраснейшем городе Серле. Мы, живущие в мире, не знающем кровопролития, не должны строго судить участников боевых групп. Эти герои, не щадя себя, служили человечеству, и никакие жертвы не были им страшны. Только необходимость заставляла их проливать кровь в эпоху, когда весь мир утопал в крови. Боевые группы были мучительной занозой в теле олигархии, от которой ей так и не удалось избавиться. Эвергард считается создателем этого своеобразного воинства, чья успешная трехвековая борьба свидетельствует о том, как мудро был заложен фундамент, простоявший века. Организация боевых групп, пожалуй, величайшая заслуга Эрнеста Эвергарда, хотя мы отнюдь не хотим преуменьшить его значение как выдающегося теоретика революции и одного из ее вождей.

[96] Характерным примером таких порядков было владычество англичан в Индии в XIX веке. Коренное население вымирало от голода, гибло миллионами, для того, чтобы правители, присвоив себе плоды его трудов, швыряли их на безумную роскошь и бессмысленные развлечения. Поистине нам, в наш просвещенный век, приходится краснеть за своих предков. Остается лишь смотреть на эти вещи с высоты философии. Капиталистическую стадию развития человеческого общества можно приравнять к веку обезьян. Человек, освобождаясь от грязи и скверны низшего органического существования, вынужден был пройти через эти стадии бытия. Естественно, что грязь и скверна надолго к нему пристали, и от них нелегко было очиститься.

[97] Выражение «обитатели бездны» принадлежит Уэллсу, писателю конца XIX века хр. эры. Уэллс, здоровый, нормальный человек, с нормальными человеческими чувствами, часто выступал в роли социального провидца. До нас дошло немало фрагментов его сочинений, а две работы — «Прозрения» и «Человеческий род в развитии» — сохранились целиком. Задолго до олигархов и до Эвергарда Уэллс предвидел возникновение чудо-городов, он называл их «городами наслаждений».

[98] Эвис Эвергард писала для своих современников и потому ни словом не упоминает о приговоре, вынесенном по делу пятидесяти двух социалистических депутатов, обвиненных в государственной измене. Такого рода досадные пробелы не раз встречаются в ее рукописи. Все депутаты, представшие перед судом, были осуждены. Как ни странно, ни один из них не был приговорен к смерти. Эвергард был одним из двенадцати, приговоренных к пожизненному заключению, в их число входили также Теодор Донелсон и Мэтью Кент. Остальные были осуждены на срок от тридцати до сорока пяти лет, и только Артур Симпсон, который, как сказано выше, был болен тифом во время взрыва, отделался пятнадцатью годами. По некоторым сообщениям, его уморили голодом в одиночке. Такое суровое обращение было вызвано крайним упорством заключенного и его нескрываемой ненавистью к палачам. Он умер в тюрьме Кабаньяс на Кубе, где были заключены еще три наших товарища. Все депутаты-социалисты были брошены в военные тюрьмы в разных концах страны. Так, Дюбуа и Вудс содержались в Пуэрто-Рико, а Эвергард и Мерривезер попали в старинную военную тюрьму на Алькатрасе, небольшом островке в заливе Сан-Франциско.

[99] Эвис Эвергард пришлось бы прожить не одну жизнь, чтобы дождаться разрешения этой загадки. Около ста лет тому назад и, значит, свыше шестисот лет после смерти автора этих записок, в тайниках Ватикана была обнаружена предсмертная исповедь некоего Первэза, американца французского происхождения. Кое-что в этом документе заслуживает внимания, хотя в целом он представляет скорее архивный интерес. В 1913 году Первэз сидел в одной из нью-йоркских тюрем в ожидании суда за совершенное им убийство. Из исповеди явствует, что Первэз не был преступником по натуре. Человек крайне горячий и порывистый, он в припадке ревности убил жену — случай, не редкий в те времена. Заключенный со страхом думал о предстоящей казни — в исповеди подробно об этом говорится — и был готов на что угодно, только бы ее избежать. Полицейские агенты поддерживали в нем страх, уверяя, что ему не миновать электрического стула. То был стул особого устройства. Приговоренного сажали на него и в присутствии опытных врачей подвергали действию электрического тока, вызывавшего мгновенную смерть. Этот вид казни был очень распространен. Анестезия как способ насильственного лишения жизни тогда еще не применялась. Итак, этот неплохой, но необузданный по натуре человек сидел в тюрьме, ожидая неминуемой смерти, когда к нему обратились агенты Железной пяты с предложением бросить бомбу в палате представителей. Первэза уверили — и об этом с непререкаемой ясностью говорится в исповеди, — что бомба будет заряжена очень слабо и взрыв не вызовет человеческих жертв. Как известно, бомба, взорвавшаяся у ног Эвергарда, действительно не причинила большого вреда. Первэза спрятали

в одной из галерей Капитолия, считавшейся закрытой по случаю ремонта. Выбор подходящей минуты был оставлен на его усмотрение, и Первэз, по его собственным словам, так заинтересовался речью Эвергарда и шумом, поднявшимся в зале, что едва не забыл о своем поручении. В награду за эту услугу Первэза не только выпустили на свободу, но и обеспечили пожизненной рентой. Однако ему недолго пришлось ею пользоваться. В сентябре 1914 года у него открылся ревмокардит, и он умер, прохворав всего лишь три дня. Перед смертью Первэз послал за католическим священником, отцом Питером Дюрбаном, и исповедался ему. Священник был так поражен этим признанием на смертном одре, что записал его от слова до слова и предложил умирающему клятвенно подтвердить его. О дальнейшем можно только догадываться. Документ, очевидно, ввиду его большого значения, был направлен в Рим, а там, под давлением влиятельных сил, убран подальше и в течение многих веков пролежал под спудом. Только в прошлом веке знаменитый итальянский историк Лорбиа случайно его обнаружил во время своих изысканий в Ватикане. В настоящее время не подлежит сомнению, что бомба, взорвавшаяся в палате представителей в 1913 году хр. эры, была брошена по приказу Железной пяты. В этом нас убеждает не столько исповедь Первэза — история в своих заключениях могла бы обойтись и без нее, — сколько то, что этот маневр, позволивший олигархии одним ударом посадить под замок пятьдесят двух неугодных депутатов, чрезвычайно похож на другие аналогичные преступления, совершенные как олигархами, так и капиталистами до них. Классическим примером циничного и подлого судебного убийства ни в чем не повинных людей явилась в последние десятилетия XIX века казнь так называемых хеймаркетских анархистов в Чикаго. Особую категорию преступлений составляли умышленные поджоги и уничтожение имущества, учиняемые капиталистами, чтобы ответственность за них взвалить на рабочих. Обычно за это платились невинные люди, которых, по излюбленному выражению того времени, почему-либо хотели «упечь» в тюрьму. Во время рабочих беспорядков первой четверти XX века хр. эры капиталисты с особой кровожадностью применяли эту тактику в борьбе с Западной федерацией горняков. Провокаторы взорвали железнодорожную станцию Индепенденс. Тридцать человек были убиты, многие получили тяжелые ранения. Капиталисты, державшие в своих руках законодательную власть и все суды штата Колорадо, обвинили в этом преступлении рабочих и чуть было не добились их осуждения. Некто Ромэн, бывший одним из орудий этого злодеяния, сидел, как и Первэз, в тюрьме другого штата — Канзас — и ждал суда, когда к нему обратились агенты капиталистов. Однако последующее признание Ромэна было еще при его жизни предано гласности. К этому же периоду относится процесс Мойера и Хейвуда, двух энергичных, неустрашимых рабочих лидеров. Один из них был председателем Западной федерации горняков, другой — ее секретарем. В ту пору был убит при таинственных обстоятельствах бывший губернатор штата Айдахо. Горняки и социалисты открыто обвиняли в этом преступлении шахтовладельцев. Несмотря на это и в нарушение конституции и местных законов, губернаторы штатов Айдахо и Колорадо сговорились между собой, и Мойер и Хейвуд были по их приказу похищены полицией и брошены в тюрьму. Обоим было предъявлено обвинение в убийстве. Вот что писал по этому поводу тогдашний лидер американских социалистов Юджин Дебс: «Против тех рабочих лидеров, которых нельзя ни подкупить, ни запугать, у плутократии существуют такие меры, как убийство из-за угла и судебная расправа. Единственным преступлением Мойера и Хейвуда было то, что они верно служили рабочему классу. Капиталисты завладели всей страной, они растлили наших политиков, развратили суд, зажали в тиски рабочих, а сейчас они не прочь расправиться с теми, кто не хочет подчиниться деспотическому произволу. Губернаторы штатов Колорадо и Айдахо только пешки в руках плутократии, покорные исполнители ее воли. Идет борьба рабочих с плутократией. И если плутократы нанесли нам первый тяжелый удар, то последний, решающий удар будет нанесен нами».

[100] Эта характерная картинка превосходно изображает дикие нравы и бессердечие правящих классов. В то время как люди голодали, болонки пользовались уходом специальной

прислуги. Затеянный Эвис Эвергард маскарад был далеко не шуточным. Дело шло о жизни и смерти и о судьбе всего движения. Тем больше у нас оснований верить правдивости ее рассказа и видеть в нем живое изображение нравов эпохи. Это были поистине диковинные времена.

[101] Так, по имени их изобретателя, назывались самые роскошные вагоны того времени.

[102] Несмотря на жизнь среди постоянных опасностей и тревог, Анна Ройлстон дожила до глубокой старости и скончалась девяноста одного года от роду. Как семейство Пококов ускользало от мести революционеров, так Анна Ройлстон оставалась неуловимой для агентов Железной пяты. Ей баснословно везло, из тысячи рискованных и трудных положений она выходила невредимой. На ней лежало исполнение приговоров боевой группы, и воинственная мстительница, которую товарищи звали «Красной девой», стала одним из самых излюбленных образов революции. Уже старухой она пристрелила «кровавого Хелклиффа» на глазах у вооруженной стражи и благополучно скрылась. Умерла она, достигнув старости, в убежище революционеров, в Озаркских горах.

[103] Несмотря на все старания, мы так и не нашли в сохранившихся документах того времени каких-либо сведений о Биденбахе. Единственное упоминание о нем встречается в «Эвергардовском манускрипте».

[104] Любознательный путник по выходе из Глен-Эллена, свернув к югу, окажется в аллее, расположенной там, где семьсот лет назад пролегала проселочная дорога. Пройдя еще четверть мили и миновав второй мост, он справа увидит глубокий овраг, который бороздит широкую равнину, ведя к группе лесистых холмов. Когда-то, во время частной собственности, овраг отгораживал дорогу общего пользования, проходившую через владения некоего Шове, французского пионера, прибывшего в Калифорнию во времена золотой лихорадки. Лесистые холмы — те самые, о которых повествует Эвис Эвергард. Во время великого землетрясения 2368 года хр. эры один из холмов обвалился и засыпал балку, где некогда укрывались супруги Эвергард. После первого же ознакомления с «Эвергардовским манускриптом» здесь были начаты раскопки, в результате которых был обнаружен домик, две каморки, вырытые в стене, горы мусора и отбросов, указывавших на длительное пребывание здесь людей. Найдено немало интересных реликвий и среди них, как ни странно, те самые дымоуловители, которые, по свидетельству мемуаристки, были в свое время изобретены и установлены Биденбахом. Лиц, интересующихся этими вопросами, мы можем отослать к брошюре Арнольда Бентама, которая вскоре выйдет в свет. К северо-западу от лесистых холмов на расстоянии мили, у слияния Дикарки и реки Сономы, находится Уэйк-Робинлодж. Здесь нелишне сказать, что Дикарка когда-то именовалась Греймкрик и под этим названием нанесена на старинные карты этой местности. Однако новое наименование больше за ней укрепилось. Эвис Эвергард часто наезжала в Уэйк-Робинлодж и подолгу жила здесь в те годы, когда ей приходилось скрываться под личиной провокатора на службе у Железной пяты, чтобы продолжать революционную деятельность. Сохранилось официальное разрешение, выданное ей для проживания в этих местах; оно за подписью Уиксона, который фигурирует в ее мемуарах в качестве одного из микроолигархов.

[105] Маскировка стала в то время подлинным искусством. Во всех убежищах возникали своеобразные школы актерского мастерства. Здесь пренебрегали такими аксессуарами грима, как парики или накладные бороды и брови, какие обычно в ходу на сцене. Борьба шла не на жизнь, а на смерть, и обычный грим мог сослужить человеку плохую службу. Маскировка должна была быть настолько совершенной, чтобы стать неотъемлемой частью человека, его вторым «я». По дошедшим до нашего времени сведениям, «Красная дева» была несравненным

мастером перевоплощения, чем и объяснялась ее долгая и успешная деятельность.

[106] Таинственные исчезновения людей были одним из страшных бедствий этого времени. Повсюду в литературе той эпохи постоянно встречается этот мотив. Явление это было порождено ожесточенной подпольной борьбой, не утихавшей в течение трех столетий. Бесследно исчезали не только революционеры, но и олигархи и члены рабочих каст. Мужчины, женщины и даже дети вдруг пропадали, и дальнейшая их судьба оставалась неразрешимой загадкой.

[107] Дюбуа, старший библиотекарь центрального книгохранилища в Ардисе, потомок этой достойной четы революционеров.

[108] Помимо рабочей касты, возникла и военная. Вместо национальной гвардии, не оправдавшей себя при новом режиме, была создана регулярная армия из солдат-профессионалов, руководимая самими олигархами. Солдаты эти получили название «наемников». В добавление к регулярной тайной полиции Железной пятой была создана тайная полиция из наемников, она осуществляла связь между полицией и армией.

[109] После подавления Второго восстания группа «Красные из Фриско» снова возродилась и просуществовала еще лет пятьдесят. Наконец одному из агентов Железной пяты удалось проникнуть в эту организацию и выведать все ее тайны, что и привело к окончательному ее уничтожению. Это произошло в 2002 году хр. эры. Членов группы потом казнили по одному через каждые три недели, а их мертвые тела выставляли в рабочем гетто Сан-Франциско.

[110] Бентхарборское убежище представляло собой подземелье, вход в которое был искусно замаскирован колодцем. Оно хорошо сохранилось; любознательный турист может и сегодня через сложный лабиринт подземных коридоров проникнуть в общий зал, где, очевидно, и произошла сцена, описанная Эвис Эвергард. В глубине — камеры для заключенных и комната смерти, в которой происходили казни. Еще дальше кладбище — высеченные в твердой породе извилистые галереи, где в глубоких нишах, расположенных ярусами, лежат друг над другом останки революционеров, упокоившихся много лет назад.

[111] В те времена в Турции было еще распространено многоженство.

[112] Это не преувеличение. Весь цвет интеллектуального и артистического мира принадлежал к лагерю революции. За исключением нескольких музыкантов и певцов да очень немногих олигархов все выдающиеся таланты того времени, чьи имена дошли до нас, были революционерами.

[113] Масло и сливки изготовлялись кустарным способом из коровьего молока. Химическая пищевая промышленность еще не была известна миру.

[114] В дошедшей до нас литературе и мемуарах того времени часто встречаются ссылки на стихи Рудольфа Менденхолла. Товарищи называли его «факелом». Несомненно, это был замечательный поэт. Но, кроме отдельных изысканных, туманных строк, цитируемых другими авторами, ничего из его произведений до нас не дошло. Казнен Железной пятой в 1928 году хр. эры.

[115] Эпизод с молодым Уиксоном не был по тем временам чем-то из ряда вон выходящим. Немало молодых олигархов, исходя из чисто моральных побуждений или под влиянием революционных идей, посвятили свою жизнь борьбе за правое дело. Так и сыны русского дворянства сыграли заметную роль в революционном движении своей страны на более раннем

этапе.

[116] К концу существования Железной пяты наемники стали влиятельной силой. В борьбе между рабочими кастами и олигархией, в непрестанной смене интриг и заговоров они играли роль третьей стороны, бросая свой меч то на ту, то на эту чашу весов.

[117] Из эклектической мешанины, характеризующей капиталистическую мораль, возникла новая этика олигархов, последовательная и четкая, суровая и непреклонная, в высшей степени нелепая и вздорная и в то же время представляющая собой необычайно действенное орудие, каким не располагал еще ни один из классов-тиранов. Олигархи твердо верили в силу своей этики, хотя она противоречила всем законам эволюции и биологии, и эта вера позволила им на три века задержать могучее движение человеческого прогресса. Для метафизика это — парадоксальное и непонятное обстоятельство; материалиста же оно заставляет над многим призадуматься и кое-что пересмотреть в своих взглядах.

[118] Строительство Ардиса было завершено в 1942 году, строительство Эсгарда — только в 1984 году хр. эры. Всего Эсгард строился пятьдесят два года. В работе принимала участие постоянная полумиллионная армия рабов. Временами число их превышало миллион, не считая сотен тысяч рабочих из привилегированных каст и множества архитекторов и художников.

[119] Среди революционеров было немало талантливейших хирургов, совершавших в своей области чудеса. По свидетельству Эвис Эвергард, им ничего не стоило превратить пациента в другого человека. Такие косметические операции, как удаление рубцов, родимых пятен или бородавок, было для них самым простым делом. Все эти операции они производили необычайно искусно, не оставляя ни малейших следов своей работы. Излюбленным объектом для этого рода хирургии был нос. Никаких трудностей не представляла также пересадка кожи или волосяного покрова. Поразительного эффекта достигали они в изменении выражения лица. Глаза, брови, рот, уши переделывались до неузнаваемости. Посредством искуснейших манипуляций в области гортани и горла, а также в полости носа и рта совершенно менялся голос человека, его артикуляция и произношение. Необычайные времена порождают необычайные ухищрения, и хирурги эпохи революции прекрасно справлялись с выпавшей им задачей. Среди прочих своих достижений они умели менять человеческий рост — либо увеличивая его на четыре-пять дюймов, либо укорачивая дюйма на два. Это искусство для нас утеряно, да мы в нем и не нуждаемся.

[120] Чикаго был промышленной преисподней XIX века. Сохранился забавный анекдот, связанный с именем некоего Джона Бернса, видного рабочего лидера, одно время входившего в английское правительство. Во время его пребывания в Штатах какой-то репортер спросил, как ему понравился Чикаго. «Чикаго — это ад в миниатюре», — отвечал гость. Прошло некоторое время, и приезжий собрался домой в Англию. Когда он садился на пароход, другой репортер спросил, не изменил ли он свое мнение о Чикаго. «Да, я изменил его, — последовал ответ. — Теперь я склонен думать, что ад — это Чикаго в миниатюре».

[121] Курьерский поезд, который тогда считали самым быстроходным в мире; некоторое время он привлекал к себе общее внимание.

[122] «Да здравствует революция!» (фр.) — Прим. ред.

[123] В те дни Калифорния была еще так мало заселена, что полевые хищники нередко становились бичом населения. Здесь были в обычае облавы на кроликов. В назначенный день все местные фермеры собирались и, оцепив большое пространство, гнали десятки тысяч

кроликов в специально огороженное место, где дети и взрослые приканчивали их дубинами.

[124] Вопрос о том, случайно ли сгорело гетто в Чикаго, или же его сожгли войска наемников, долго считался нерешенным. В настоящее время установлено, что гетто сожгли наемники по приказу своего командования.

[125] Некоторые здания удерживались революционерами неделю, а одно оборонялось одиннадцать дней. Каждый дом приходилось брать штурмом, как крепость, постепенно, этаж за этажом. Бои велись не на жизнь, а на смерть. Ни та, ни другая сторона не давала пощады и не просила ее. Преимущество революционеров заключалось в том, что они закреплялись на верхних этажах. И хотя революционеры были разбиты, они и на этот раз не остались в долгу у противника. Гордые пролетарии Чикаго не изменили своим традициям: как ни велики были их потери, противник понес не меньшие.

[126] Этот сравнительно короткий период кровью вписан в анналы истории. Единственным побудительным мотивом тогда была месть. Члены террористических организаций, не видя перед собой никакого будущего, безрассудно шли на смерть. «Даниты», взявшие свое имя у ангелов-мстителей из религиозных верований мормонов, впервые объявились в горах Запада и оттуда распространились по всему Тихоокеанскому побережью — от Панамы до Аляски. Ужас наводили на врага «Валькирии» — группа, состоявшая исключительно из женщин. В члены ее принимали только тех, у кого были личные, кровные счеты с олигархами. По дошедшим до нас сведениям, они бесчеловечно истязали своих пленников. Не меньшей известностью пользовались, впрочем, и «Вдовы героев». «Валькириям» не уступали в жестокости «Берсеркеры». Эти смельчаки, не ставившие свою жизнь ни во что, уничтожили большой город наемников Беллону вместе с его стотысячным населением. Наряду с двумя родственными организациями рабов, которые именовали себя «Бедламитами» и «Адамитами», возникла недолго просуществовавшая секта «Гнева господня». Названия этих сект достаточно красноречиво их характеризуют: «Кровоточащие сердца», «Сыны утра», «Утренние звезды», «Фламинго», «Тройные треугольники», «Три черты», «Мстители», «Команчи», «Эребузиты» и т. д.

[127] На этом, обрываясь на полуфразе, и заканчивается манускрипт. Очевидно, Эвис Эвергард была заблаговременно извещена о приходе наемников, так как, прежде чем бежать или быть застигнутой своими палачами, она успела спрятать рукопись в надежном месте. Приходится лишь пожалеть, что повесть ее так и осталась недописанной, иначе нам, возможно, открылись бы обстоятельства смерти Эрнеста Эвергарда, которые и по сей день, спустя семьсот лет, представляют для нас тайну.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch